

ISSN 1605-7880

Том 82, Номер 1

Январь – Февраль 2023

ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

<https://ras.jes.su/sliya>



Известия Российской академии наук

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Том 82 № 1 2023 Январь—Февраль

Основан в 1852 г. академиком И.И. Срезневским
Выходит 6 раз в год
ISSN 1605-7880

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 0110264 от 08.03.1993

*Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук*

Главный редактор
член-корр. РАН, д-р филол. наук *В.В. Полонский* (ИМЛИ РАН, г. Москва, Россия)

Редакционная коллегия

член-корр. РАН *В.Е. Багно* (ИРЛИ РАН, г. Санкт-Петербург, Россия), проф. *Хенрик Баран* (Университет Олбани, г. Олбани, штат Нью-Йорк, США), член-корр. РАН *Ю.Л. Воротников* (ИРЯ РАН, г. Москва, Россия), проф. *Марчелло Гардзанини* (UNIFI, г. Флоренция, Италия), канд. филол. наук *С.И. Гиндин* (РГГУ, г. Москва, Россия), член-корр. РАН *А.В. Дыбо* (ИЯз РАН, г. Москва, Россия), д-р филол. наук *А.И. Жеребин* (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия), д-р филол. наук *Т.Г. Иванова* (г. Москва, Россия), акад. РАН *Н.Н. Казанский* (ИЛИ РАН, г. Санкт-Петербург, Россия), д-р филол. наук *В.Л. Коровин* (научный редактор, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия), д-р филол. наук *Л.П. Крысин* (зам. главного редактора, ИРЯ РАН, г. Москва, Россия), акад. РАН *А.Б. Куделин* (ИМЛИ РАН, г. Москва, Россия), акад. РАН *А.М. Молдован* (ИРЯ РАН, г. Москва, Россия), канд. филол. наук *А.Ч. Пиперски* (ответственный секретарь, НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия), акад. РАН *В.А. Плунгян* (ИЯз РАН, г. Москва, Россия), проф. *Александр Строев* (l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, г. Париж, Франция), акад. РАН *С.М. Толстая* (ИСл РАН, г. Москва, Россия), д-р филол. наук *Е.В. Халтрин-Халтурина* (ИМЛИ РАН, г. Москва, Россия), проф. *Герд Хентшель* (Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого, г. Ольденбург, Германия), проф. *Чжэн Тиу* (Шанхайский университет иностранных языков, г. Шанхай, КНР)
Зав. редакцией О.И. Лукашенко

Адрес редакции: 117993 Москва, Ленинский пр., 32а
тел.: 8-495-952-44-90, 8-925-095-84-64
электронная почта: info@izv-oifn.ru, lukashenko97@gmail.com
Сайт журнала: <https://izv-oifn.ru>

© Российская академия наук, 2023
© ФГБУН ИМЛИ РАН, 2023
© Редакция журнала “Известия РАН.
Серия литературы и языка” (составитель), 2023

Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk

SERIÂ LITERATURY I ÂZYKA

**Bulletin of the Russian Academy of Sciences:
Studies in Literature and Language**

Volume 82 No. 1 2023 January–February

Established in 1852 by Academician Izmail I. Sreznevsky
Publication frequency 6 issues per year
ISSN 1605-7880

Founder and Publisher: Russian Academy of Sciences
Mass media registration certificate No. 0110264, March 08, 1993

*The Journal is produced under the aegis of
The Division of Historical and Philological Studies of the Russian Academy of Sciences*

Editor-In-Chief

Vadim Polonsky, Correspondent Member of the RAS, Doct. Sci. (Philology),
Prof., A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

Editorial board

Vsevolod Bagno, Corresponding Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia), *Henryk Baran*, Ph.D., Prof., State University of New York at Albany (Albany, USA), *Cheng Tiu*, Prof., Shanghai International Studies University (Shanghai, China), *Anna Dybo*, Corresponding Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., Higher School of Economics, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Marcello Garzaniti*, Grand Ph.D. (Slavic Philology), Prof., University of Florence (Florence, Italy), *Sergei Gindin*, Cand. Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), *Elena Haltrin-Khalturina*, Dr. Sci. (Philology), A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Herd Hentschel*, Prof., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Oldenburg, Germany), *Tat'yana Ivanova*, Dr. Sci. (Philology), (Moscow, Russia), *Nikolai Kazansky*, Full Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., Institute of Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, (St. Petersburg, Russia), *Vladimir Korovin*, **Scholarly Editor**, Dr. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), *Leonid Krysin*, **Deputy Editor-In-Chief**, Dr. Sci. (Philology), Prof., V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Alexander Kudelin*, Full Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Olga I. Lukashenko*, **Managing Editor**, *Alexander Moldovan*, Full Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Alexander Piperski*, **Executive Editor**, Cand. Sci. (Philology), Higher School of Economics (Moscow, Russia), *Vladimir Plungian*, Full Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Alexander Stroev*, Prof., l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Paris, France), *Svetlana Tolstaya*, Full Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), Prof., Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Yury Vorotnikov*, Corresponding Member of the RAS, Dr. Sci. (Philology), V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), *Aleksei Zherebin*, Dr. Sci. (Philology), Prof., A.I. Herzen Russian State Pedagogical University (St. Petersburg, Russia)

Address for Correspondence:

Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language,
32a Leninsky Prospect, Moscow, 117993 Russia
Tel.: +7(495)952-44-90, +7(925)095-84-64
E-mail: info@izv-oifn.ru, lukashenko97@gmail.com
Web Site: <https://izv-oifn.ru>

-
- © The Russian Academy of Sciences, 2023
© The A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 2023
© Editorial Board of "Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language" (editing and composing), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка.
2023, Том 82, Номер 1

“Высокая болезнь”: клиника и литература (Русская словесность первой половины XIX века и медицина) <i>В. А. Котельников</i>	5
Как соотносятся “индивидуальные речевые системы” и “языковая система” в концепции Л. В. Щербы <i>М. Ю. Федосюк</i>	17
К семантической типологии адъективной деривации в тунгусо-маньчжурских языках <i>Н. Б. Пименова</i>	24
“...Исповедоваться друг другу на письме...”: семейная переписка в понимании молодого И. В. Киреевского <i>М. Д. Кузьмина</i>	37
Образ Христа-возлюбленного и проблематика субъектности в женской лирике Серебряного века <i>Е. В. Кузнецова</i>	51
Цветовая метафора в творчестве Жака Превера <i>О. А. Кулагина</i>	67
“Отцы и дети” И. С. Тургенева в США: первые впечатления <i>О. Д. Тюняева</i>	79
Два перевода “Истории Пугачева” А. С. Пушкина на английский язык <i>К. С. Александрова</i>	87
К типологии диахронических источников адверсативных показателей <i>М. Г. Степаняц</i>	94

Юбилей ученых

“Только архив ведет к истории литературы...”. К юбилею Натальи Васильевны Корниенко <i>Д. С. Московская, Е. А. Папкина</i>	102
---	-----

CONTENTS

Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language.
2023, Volume 82, Issue 1

The “High Disease”: Clinic and Literature (Russian Literature of the 1 st Half of the 19 th Century and Medicine) <i>V. A. Kotelnikov</i>	5
On How “Individual Speech System” and “the Language System” Relate in Lev Shcherba’s Conception <i>M. Yu. Fedosyuk</i>	17
On the Semantic Typology of Adjective Derivation in the Tungus-Manchu Languages <i>N. B. Pimenova</i>	24
“...To Confess with Each Other in a Letter...”: Family Correspondence in the Understanding of Young I. V. Kireevsky <i>M. D. Kuzmina</i>	37
The Image of Christ the Beloved and the Problems of Subjectivity in the Women’s Lyrics of the Silver Age <i>E. V. Kuznetsova</i>	51
Color Metaphor in Jacques Prévert’s Works <i>O. A. Kulagina</i>	67
Ivan S. Turgenev’s “Fathers and Sons” in the USA: First Impressions <i>O. D. Tyunuaeva</i>	79
Two English Translations of Alexander Pushkin’s “A History of Pugachev” <i>K. S. Aleksandrova</i>	87
Towards a Typology of Diachronic Sources of Adversative Markers <i>M. G. Stepanyants</i>	94

Jubilees of Scholars

“Archive is the Only Way Towards the History of Literature...”: Marking the Jubilee of Natalia V. Kornienko <i>D. S. Moskovskaya, E. A. Papkova</i>	102
--	-----

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024633-2

“Высокая болезнь”: клиника и литература (Русская словесность первой половины XIX века и медицина)

© 2023 г. В. А. Котельников

Доктор филологических наук,
главный научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4
vladilogos@mail.ru

Резюме. В статье рассматриваются реальные случаи психопатии у русских писателей первой половины XIX века, в частности у К.Н. Батюшкова и П.Я. Чаадаева, и связь болезни с их литературной деятельностью. Привлекается материал из истории русской психиатрии. Вместе с тем, подробно исследуется разработка темы безумия в литературе данного периода, а также в ранней поэзии Б.Л. Пастернака. Раскрываются романтический характер и источники такой разработки в произведениях В.Ф. Одоевского, влияние творчества Э.-Т.-А. Гофмана. Показана романтическая персонификация темы безумия в повестях Н.А. Полевого “Блаженство безумия”, “Эмма” и в повести Н.Ф. Павлова “Маскарад”. Отмечена философско-этическая трактовка темы в стихотворениях Е.А. Боратынского и Ф.И. Тютчева, в повестях А.И. Герцена “Доктор Крупов” и “Поврежденный”.

Ключевые слова: психопатия, психиатрия, романтизм, литература первой половины XIX века, К.Н. Батюшков, П.Я. Чаадаев, В.Ф. Одоевский, Б.Л. Пастернак.

Для цитирования: Котельников В.А. “Высокая болезнь”: клиника и литература (Русская словесность первой половины XIX века и медицина) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 5–16. DOI: 10.31857/S160578800024633-2

The “High Disease”: Clinic and Literature (Russian Literature of the 1st Half of the 19th Century and Medicine)

© 2023 Vladimir A. Kotelnikov

Doct. Sci. (Philol.),
Chief Researcher at the Institute of Russian Literature (Pushkin House)
of the Russian Academy of Sciences,
4 Makarov Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia
vladilogos@mail.ru

Abstract. The article examines cases of psychopathy, which occurred among Russian writers of the 1st half of the 19th century, in particular K.N. Batyushkov and P.Ya. Chaadaev, and the connection of the disease with their literary activity. The material from the history of Russian psychiatry is involved. At the same time, the development of the theme of insanity in the literature of this period, as well as in the early poetry of B.L. Pasternak, is studied in detail. The romantic nature and sources of such development in the works of V.F. Odoevsky, the influence of E.T.A. Hoffman’s creativity are revealed. The romantic personification of the theme of madness is shown in N.A. Polevoy’s novels “The Bliss of Madness”, “Emma” and in N.F. Pavlov’s novella “Masquerade”. The philosophical and ethical interpretation of the theme is noted in the poems of E.A. Boratynsky and F.I. Tyutchev, in the novels of A.I. Herzen “Doctor Krupov”, “Damaged”.

Key words: psychopathy, psychiatry, Romanticism, literature of the 1st half of the 19th century, K.N. Batyushkov, P.Ya. Chaadaev, V.F. Odoevsky, B.L. Pasternak.

For citation: Kotelnikov, V.A. “*Vysokaia bolezn’*”: *klinika i literatura (Russkaia slovesnost’ vtoroj poloviny XIX veka i meditsina)* [The “High Disease”: Clinic and Literature (Russian Literature of the 1st Half of the 19th Century and Medicine)]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 5–16. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024633-2

Среди давно известных эндогенных патологий (кардиопатии, остеопатии, миопатии, полинейропатии и др.) особое внимание с древности привлекали психопатии. Это связано с тем, что они, при внешне здоровом теле, приводили к глубоким изменениям личности, имевшим негативный социальный эффект. Необъяснимость умственных и поведенческих девиаций заставляла предполагать, вплоть до Нового времени, вмешательство сверхъестественных сил. Пророк Даниил рассказывает о Навуходоносоре, наказанном Богом за гордыню безумием, и сообщает подробности: царь был отлучен от людей, обитал “с полевыми зверями”, ел траву, как вол (Дан 4:29). И Саул пережил насланное Богом помрачение ума¹, которое псалмопевец Давид исцелял игрой на арфе, – вероятно, один из первых случаев мелотерапии². По сообщению греческого врача Маркелла Сидского (Μάρκελλος σιδήτης; II в. н.э.), автора большой медицинской поэмы, в памяти современников остались случаи (первые относились еще к 1800-м годам до н.э.) так называемой *Lusanthropia* (волкочеловечие), когда страдавшие таким недугом лаяли и выли по-волчьи, скитались по полям и кладбищам (свидетельства о них были найдены Маркеллом в документальных источниках, а не в мифах и фольклоре). Древняя Греция знала твердые нормы правильного мышления и поведения и нарушения их выводила в область “безумия” (παράνοια). Платон в трактате “Законы” свидетельствовал, что “с ума сходят многие и по-разному <...> из-за болезней; бывает это из-за дурной природы духа и дурного воспитания” [2, т. 4, с. 399–400]. В “Тимее” антагониста разумному человеку он называл помешанным, испорченным [2, т. 3, с. 161], однако в священном бреде прорицателей видел практическую пользу. Киника Диогена здравомыслящие греки третировали как “безумствующего Сократа”. Подробное историческое описание безумия и отношения к нему общества в классическую эпоху дал Мишель Фуко [3].

В русских текстах Нового Завета понятие “безумный” используется как антитеза понятиям

“разумный, мудрый” в их языческом, нехристианском понимании и употреблении в ту эпоху. Евангельское “безумие” к патологическому безумию не имело прямого отношения. В известном выражении Апостола Павла “Мы безумны Христа ради” (ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν – 1 Кор 4:10) греческое μωροὶ буквально значит просто “неразумные, несмысленные”. Данное греческое слово (в единственном числе) стоит в Евангелии от Матфея, и в русском тексте оно также переведено как “безумный”; в старославянском в этом месте (Мф 5:22) стоит “оүродъ” со значением “безумный”, “умалишенный”, что является неточным переводом μωρὸς. Однако остается неясным, почему слово μωρὸς, сказанное “брату своему”, влечет за собой несоразмерную, казалось бы, угрозу сказавшему быть “в геенне огненной”.

“Оүродъ”, как мы знаем, дает позднейшее “юродивый” – то есть Христа ради принявший на себя подвиг отказа от обыденного ума, от общепринятого поведения и речи, имеющий вид безумного в обличении неправды мира сего; см. [4].

Насколько часто люди сталкивались с психопатиями в ближнем кругу, слышали и читали о сумасшедших, насколько многообразным было их восприятие и истолкование, свидетельствует богатая русская полионимия всей совокупности психопатий – такую не производила в языке ни одна другая болезнь. В нее входят нетерминологические названия состояния: “безумие”, “сумасшествие”, “умственное расстройство”, “умопомрачение”, “помешательство”, “душевная болезнь” и пр., имеющие разные коннотации и функции. Им соответствуют наименования лиц: “безумный”, “ненормальный”, “сумасшедший”, “психопат”³, “умалишенный”, “помешанный”, “душевнобольной”, “невменяемый”, вплоть до стилистически сниженных “поврежденный”, “спятивший” и т.п. Хотя в последнем ряду не все названия и не всегда обозначают только действительно патологические состояния, они могут употребляться и как характерологические определения.

В литературных (и в некоторых художественно-философских) текстах, прежде всего

¹ Позднейшие исследователи определяли его как *melancholia misanthropica*.

² Об этом направлении психотерапии см.: [1].

³ Семантика и история данного понятия скрупулезно на большом фактическом материале рассмотрены в статье Н.Ю. Грякаловой [5].

романтической ориентации, нередко расширялась семантика слова “безумие” за пределы собственно психопатии с включением экстаических состояний ума и чувства, сопровождающих акт творчества. Генетически это восходит к античным пифическим и оргиастическим экстазам, к архаичным ритуальным трансам.

Сохраняя в той или иной мере отсылки к психической аномальности в изображении (или имитации) безумия, некоторые писатели стремились придать ему духовную значимость и культурную ценность.

Так, прорываясь сквозь “нашу прозу с ее безобразьем” [6, т. 1, с. 281], Пастернак приходит к “Высокой болезни” – программно называя этим словосочетанием поэму (1923, 1928), и у него это – синоним творчества: “Высокая одна болезнь / Еще зовется песнь” [6, т. 1, с. 273]. Она “гостит во всех мирах” [6, т. 1, с. 276], и насколько безумен наступивший социальный “содом” (по его определению тех лет), настолько безумствует речь поэта с ее неистовой метафоризацией мира, с параболизмом, ритмией, с разрывами нарративных связей, резкими стилевыми перепадами и стычками (в сплошном ее потоке сталкиваются высокие поэтизмы – прозаизмы – просторечие – вульгаризмы). В истории настал такой момент, стихи о котором Пастернак называет “Болезни земли” (1919), поэт заключает: “Надо быть в бреде по меньшей мере, / Чтобы дать согласие быть землей” [6, т. 1, с. 136]. Болезни земли переходят на человека, на поэта, о чем уже прямо сказано в цикле “Болезнь” (1918–1919): “Духовенств душней, черней иночеств / Постигает безумье нас” [6, т. 1, с. 190]. Именно в таком состоянии, между субъектной реальностью и поэтическим письмом или, можно сказать, в зоне клинической неопределенности, Пастернак, чья психика была чрезвычайно подвижна, проговаривает смыслы, лежащие глубже рационального их понимания и выражения.

Уместно ль песню звать содом,
Увоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымошен ад
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, –
Простятся все грехи.
Все это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны. [6, т. 1, с. 273]

Его речь в ту пору в меньшей мере обусловлена современными ему стилевыми тенденциями⁴; она зачастую продуцируется как своего рода поэтическая глоссолалия⁵. Данный тип речи (от греч. γλῶσσα – язык и λαλέω – говорю), в своей умеренной форме сохраняя относительную грамматическую правильность, общую смысловую внятность, тяготеет к словоупотреблению, выпадающему из общепринятого, ему свойственны неожиданные повороты мысли, спонтанность возникновения разнородных образов, нарушение связей между фрагментами, отсутствие тема-рема-тического единства. Она бывает присуща людям в состоянии бреда, транса или страдающим психическими отклонениями. Есть указания на глоссолалию апостолов в начале их миссии среди иноязычных, она считалась, как и способность апостолов говорить на разных языках, даром свыше, полученным в момент схождения Духа Святого. Охваченный сакральным экстазом, апостол проповедовал Благою весть подчас в сумбурной, но вдохновенной речи – при этом, как свидетельствовал Павел, “никто не понимает его, он тайны говорит духом” (1 Кор 14:2). «А иные, – замечает автор “Деяний”, – насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина» (Деян 2:13)⁶.

В России в начале XIX века психопатические явления оказались в ближнем поле зрения медицины, а вскоре и литературы.

Среди врачей-психиатров, внесших немалый вклад в нозологию (как тогда именовалось изучение психических расстройств), следует назвать Василия Федоровича Саблера (1797–1877), главного врача московской Преображенской психиатрической больницы, и Петра Александровича Бутковского (1801–1844). Первый изменил само отношение к больным, гуманизировал условия их госпитализации и средства лечения. Второй, на основании своей врачебной практики и наблюдений европейских медиков⁷, создал новаторский тогда труд научно-практического содержания, в котором описал симптоматику и типы больных, дал классификацию психопатий,

⁴ Характерна для этих тенденций поэтическая речь Велемира Хлебникова, по стилевому облику местами близкая к пастернаковской, но в ней нет мотивов безумия; в тех же обстоятельствах она управлялась рационализирующей мыслью и осознанным художественно-языковым заданием.

⁵ Как литературный феномен она исследуется (не касаясь творчества Пастернака) в новейшей работе В. Фещенко [7].

⁶ См. наиболее полную по материалу работу Е. Lombard [8]; также [9, с. 55–57, 79–107].

⁷ В частности, он пользовался сочинением французского врача Ф. Пинеля [10].

уже тогда выделяя некоторые виды шизофрении, связывая ее с расстройствами ментально-рефлексивной сферы, обследовал больных с инволюционными депрессиями, параноидов, отграничил олигофрению от деменции. Главным регулирующим началом нозосферы Бутковский считал “самосоведение” (т.е. самосознание) и полагал, что “болезнь душевная есть то состояние, при котором свободная самосоведующая сила теряет свое владычество над всеми или над некоторыми токами отправлениями психической жизни” [11, с. 25]. Соответственно, человек утрачивает внутреннюю свободу, не может сам управлять собой, им овладевают внешние силы – раздражения, идущие от среды, он впадает в “самострастие”, то есть становится одержимым страстями и маниями [11, с. 34, 39].

Для нас немаловажен тот факт, что во взгляде знаменитого тогда психиатра Бутковского на болезненные состояния ума и чувств, при вполне научной аналитике, отчетливо читается влияние романтической антропологии, как она предстает в “Страданиях юного Вертера”, “Избирательном средстве” Гёте, в “Люцинде” Ф. Шлегеля, в его лекциях “Философия жизни” и т.д. (Бутковский владел немецким, французским и шведским языками, и ему была хорошо знакома европейская литература). Вместе с тем, его авторское изложение в книге “Душевные болезни” отмечено литературностью, сказывающейся в образных описаниях клинической симптоматики и этиологии, в выразительных эпитетах, в новообразованных словах с функцией терминов. Весьма значимо для нашей темы наблюдение Г.С. Батенькова в письме к А.П. Елагиной от 24 мая 1849 г.: “Вообще в последнее время медицина доставила литературе много ясных фраз и вообще наука выразила свои результаты текущим словом” [12, т. 1, с. 249].

Психиатрия как специальная область знания с 1830-х годов стала вызывать заметный интерес в обществе благодаря, в частности, переводам трудов европейских психиатров (упомянутое сочинение Ф. Пинеля было переведено еще в 1829 г.) и журнальным публикациям о психических заболеваниях и их лечении (известно, что такие публикации в “Северной пчеле” читал Гоголь и с ними связаны его “Записки сумасшедшего”).

Тема безумия стала активно вовлекаться в художественную практику; к концу века насчитывались десятки произведений, в которых она разрабатывалась персонологически и сюжетно. Что побуждало изображать героев с психопатическими чертами? Возможность мотивировать выход за границы обыденного мышления и

чувствования, показать сдвиги рецептивного и рефлексивного отношения к окружающему, что обнаруживало новую сторону в человеческой природе и давало новую картину мира. В таком аспекте видит предмет в своей недавней работе Е.Г. Трубецкова [13], обратившись к повести В.Ф. Одоевского “Сильфида”, к его эссе “Кто сумасшедшие”, к текстам из его “Русских ночей”.

Многие из таких текстов изучены литературоведами, хотя далеко не весь необходимый материал XIX века (как, впрочем, и XX-го) подвергнут рассмотрению. Чаще всего исследователи обращаются, конечно, к “Запискам сумасшедшего” Н.В. Гоголя, сборнику А. Погорельского “Двойник, или Мои вечера в Малороссии”, повести Н.А. Полевого “Блаженство безумия”, к “Двойнику” Достоевского, “Русским ночам” Одоевского, к “Палате № 6”, “Черному монаху” Чехова, “Красному цветку” В.М. Гаршина, “Мелкому бесу” Ф. Сологуба, “Красному смеху” Л.Н. Андреева, “Мастеру и Маргарите” М.А. Булгакова. Но явно недостаточное внимание уделено пушкинским “Медному всаднику” и “Пиковой даме”, случаям К.Н. Батюшкова, П.Я. Чаадаева, “Запискам сумасшедшего” Л.Н. Толстого (недавнее обращение к этому тексту принадлежит Д. Быкову) и еще целому ряду произведений. В разных аспектах тема разрабатывалась Е.А. Гаричевой, Е.Г. Трубецковой, Г.Г. Хубулавой, И.Е. Сироткиной, А.М. Грачевой, М.А. Хазовой, О.Ю. Сконечной, М.А. Зиминой, А.В. Селезневой, С.А. Кибальником, Н.Ю. Грякаловой, В.Н. Захаровым. Важна для понимания предмета широко охватывающая материал и проблематику работа К.А. Богданова, в которой показана институализация медицины в России и отчасти на Западе, бытовавшие в науке и обществе представления о здоровье и болезни, репутация врача, отражение этих явлений в культуре, в текстах различной исторической и жанровой принадлежности [14].

Тяжелая психопатия поразила К.Н. Батюшкова, она трагически сказалась на его судьбе и дала тему “высокой болезни” его творчеству. Его душевный недуг коренился в наследственности. Брат деда по отцу всем “казался безумным”, мать умерла в 35 лет от умственного расстройства, подобными заболеваниями страдали сестры Анна и Александра. До времени явных психопатических признаков у Батюшкова не было, но были предвестья. Находясь при русской миссии в Италии, поселившись на острове Иския, “наслаждаясь великолепнейшим зрелищем в мире”, давно излечившись от гейдельбергской раны и будучи физически здоровым, он 1 августа 1819 г. жалуется

Жуковскому: "Здоровье мое ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диета, ничто его не может исправить: оно, кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор очень редко мучила, совершенно отказывается" [15, с. 538]. В множестве и постоянстве подобных жалоб обнаруживаются, как это называлось тогда, ипохондрические страхи, на медицинском языке называемые теперь инертным астеническим синдромом. Этим усугублялась минорная тональность в элегических текстах, что, конечно, соответствовало эмоциональной окраске и стилистике жанра, но выражалось это слишком преувеличенно и настойчиво. Батюшков испытывает почти навязчивую потребность заявлять о своем безотрадном жизнеощущении. Среди "Веселого часа" (написанного между 1806 и 1810 годами) он уверяет, что вскоре "И время сильною рукой / Погубит радость и покой" [16, с. 229], в "Пробуждении" (1815) признается: "Ничто души не веселит, / Души, встревоженной мечтами" [16, с. 231]⁸, в элегии "К другу" (1815) рассказывает: "Так ум мой посреди сомнений погибал" [16, с. 252]. Наконец, в "Последней весне" (1815) обращение Батюшкова к "певцу любви" есть, в сущности, обращение к самому себе: "Ты смерти верной предвещанье / В печальном сердце заключил" [16, с. 234], что перед участвовавшими с 1819 г. приступами меланхолии и тоски указывает на атонию психического самочувствия. Свои настроения, жизнеощущения, предчувствия, мысли о собственной судьбе Батюшков уже в 1810-е годы начинал проецировать на образ Торквато Тассо, на тридцать третьем году жизни впавшего в помешательство (в этом же возрасте безумие поразило и Батюшкова). Сначала была статья "Ариост и Тасс" (1815), в 1817 г. он написал большое стихотворение "Умиравший Тасс", в связи с которым И.М. Семенко верно заметила: "Образ Тассо все болезненнее тревожил Батюшкова и сливался с его собственной личностью; внутреннее самоотождествление с героем несомненно" [16, с. 569].

С 1820 г. его нездоровье становится очевидным для окружающих; меланхолия осложняется манией преследования; с 1823 г. происходят попытки самоубийства. Отправленный в больницу Дерпта, он сбегает, после чего его везут в Германию, в клинику Maison de Sante в Зонненштайне, откуда он тоже пробовал убежать. В конце концов консилиум немецких врачей признает болезнь

⁸ Интимные "мечты" у Батюшкова — это мучившая его игра воображения, в которой порывы его страстной природы часто связывались с мотивом смерти.

неизлечимой; Батюшкова привозят в Москву, поселяют в Грузинах, в Тишинском переулке, и поручают наблюдению врача Антона Дитриха, который и сам занимался литературой: переводил на немецкий стихи Жуковского, Вяземского, также и Батюшкова ("Мои пенаты"), в своем пациенте он высоко ценил талант и хотел вернуть поэта к творчеству. Дитрих вел дневник его состояний, где, наряду с редкими просветлениями, отмечал периодические повторения галлюцинаторно-бредового синдрома и суицидальных намерений. Когда в феврале 1830 г. Батюшков заболел тяжелой пневмонией, к лечению привлекли известного врача Михаила Антоновича Маркуса, прогнозировавшего летальный исход. В доме отслужили всенощную в присутствии друзей поэта, в том числе и Пушкина, которого Батюшков не узнал; предполагается, что воспоминание об этом посещении позже побудило Пушкина написать стихотворение "Не дай мне Бог сойти с ума..." (1833).

Но прогноз не оправдался, и умер Батюшков в 1855 г. от тифозной горячки. На основании межуарного анамнеза, косвенных данных и клинических аналогий современный врач Н.Е. Ларинский, занимающийся темой "История и болезни", составил гипотетический диагноз. «Первое предположение — монополярный аффективный психоз (психотическая депрессия). Депрессия Батюшкова изменялась по глубине от случая к случаю, отмечался у поэта и "меланхолический раптус", во время которого он иступленно хотел лишиться себя жизни. <...> Повышенная раздражительность делала поэта нетерпимым и беспомощно-агрессивным, причем иногда это было выражено ярче, чем подавленное настроение. Потеря аппетита, интереса к противоположному полу, расстройство сна, ипохондрический преморбид с психосоматическими переключениями вполне укладываются в картину эндогенного процесса. <...> Еще в Зонненштайне у него возникла полномасштабная бредовая система с болезненными идеями проклятия, вреда, преследования. <...> Существует мнение о наличии у поэта шизофрении прогрессивного течения» [17, 2015-01-13].

В литературе (и отчасти в поле общественного внимания) 1830-х годов тема безумия и фигуры безумцев вдруг заняли весьма заметное место, что продолжилось, хотя и не в такой концентрации, в следующем десятилетии — уже как развитие темы в новом направлении, в частности, у Достоевского ("Двойник", "Господин Прохарчин", "Хозяйка", "Неточка Незванова"), чьих "фантастических" героев такого рода Белинский отправил в дом умалишенных.

Такую тематическую эпидемию безумия недостаточно объяснить влиянием романтизма, даже при том, что его антропология, как говорилось выше, не осталась без последствий для русских авторов. Гофманианство, которому были особенно подвержены Антоний Погорельский и В.Ф. Одоевский, гипнотическое обаяние Ансельма, Натанаэля, Крейсера действовало на воображение, но порождало все-таки подражательные версии, в которых не случайно избирались для персонажей немецкие и итальянские имена. На многих сильно действовал и романтический соблазн видеть короткую взаимосвязь творческой гениальности с безумием. Через тридцать лет Ч. Ломброзо попытался придать такой взаимосвязи психофизиологическое обоснование; в прославившей его книге [18] он приводил десятки примеров, доказывающих, по его мнению, закономерное наличие помешательства у гениальных и высокоодаренных знаменитостей, сопоставляя их с пациентами психиатрических клиник.

Интерес к психопатиям в 1830-е годы прямо предварялся еще в конце 1820-х годов несколькими ранними обращениями к теме. Таково стихотворение В.Н. Щастного 1827 года “Безумный”, в котором автор, с его напряженным интересом к “сумеречным” состояниям, рисует “человечество в его уничиженьи” [19, с. 528]. Таково стихотворение Е.А. Боратынского 1828 года “Последняя смерть”, в котором человек погружен в то бытие, где “с безумием граничит разуменье” [20, с. 128] и где

Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный. [20, с. 128]

Именно в этом состоянии он может прозревать ряд грядущих эпох и “последнюю судьбу всего живого” [20, с. 128]. Что здесь такое “отчизна давняя”? Это область прементальных интуиций, проход из которой в светлую область сознания может открываться в момент психопатических эксцессов. Впрочем, не только, а и в моменты эвристических экстазов тоже.

Тогда же Антонием Погорельским дана вполне романтическая трактовка безумия в повести “Двойник, или Мои вечера в Малороссии” (1828).

В 1833 г. обезумел “Евгений бедный” в “Медном всаднике”, Германн был помещен в 17 номере

Обуховской больницы⁹, а автор восклицал в тревоге: “Не дай мне Бог сойти с ума...”. В том же году Н.А. Полевой в повести “Блаженство безумия”, еще следуя за гофмановскими “Песочным человеком” и “Повелителем блох”, рассказывает о несчастной судьбе помешавшегося Антиоха, который заплатил разумом и жизнью за “прихоти своего бешеного воображения” [22, с. 91]. А через год в оригинальной по замыслу и сюжету повести “Эмма” Полевой, показав бессилие медицины вылечить сошедшего с ума молодого князя, приводит врача к глубокой истине: “Что такое болезнь? Победа *тела* над духом, от которой победитель умирает” [22, с. 311]. И проникшийся этой истинной доктор объясняет успешное исцеление больного магнетическим влиянием на него добродетельной Эммы: “Это лечение души душою, это микстура из бытия, пластырь из сердца, порошки из жизни и смерти!” [22, с. 309].

В 1834 году Тютчев создает устрашающее изображение безумия (в одноименном стихотворении), обитающего “там, где с Землею обгорелой / Слился, как дым, небесный свод” [23, с. 120]. Образ безумия натуралистичен и одновременно бездонно метафизичен:

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках... [23, с. 120]

В 1835 г. появляются “Записки сумасшедшего” Гоголя, в которых позже усматривали разработку темы так называемого социального безумия, связывая психопатию Поприщина с ущербностью его социального положения. Сюжет сумасшествия, постигшего героя после падения, А.Ф. Вельтман ввел в повесть “Неистовый Роланд” (1835), написанную по канве гоголевского “Ревизора”. Актер Зарецкий помешался на своей роли из пьесы Ф. Шиллера “Заговор Фиеско в Генуе” и в бреду произносит сценические реплики из нее в ответ на допросы чиновников провинциального города, что излагается в комическом ключе, но с почти трагическим финалом: герой окончательно сходит с ума и продолжает играть роли перед

⁹ Интересна интерпретация этого образа на оперной сцене; об исполнении партии Германа (в либретто М.П. Чайковского, в отличие от повести А.С. Пушкина, главный герой Герман — с одной -н. — В.К.) Н.Н. Фигнером А.Ф. Кони писал: «Н.Н. Фигнер в роли Германа сделал удивительные вещи. Он понял и представил Германа как целую клиническую картину душевного расстройства... Когда я увидел Н.Н. Фигнера, я был поражен, до какой степени он верно и глубоко изобразил безумие <...> и как оно у него развивалось. Если бы я был профессиональным психиатром, я сказал бы слушателям: “Идите, посмотрите Н.Н. Фигнера. Он вам покажет картину развития безумия, которой вы никогда не встретите и не найдете!”» [21, с. 46].

больными в желтом доме, а они “забывают свои мании” и “двигаются исступленному искусству Зарецкого” [24, с. 552].

Местопробывание умалишенных привлекло внимание А.Ф. Воейкова еще в 1814 г. и дало повод его желчному остроумию поселить там современных ему писателей и некоторых деятелей, что он и сделал в гротескно-сатирическом стихотворении “Дом сумасшедших”. Ходившее в многочисленных списках, оно пополнялось новыми фигурами вплоть до 1839 г. и было впервые опубликовано (не полностью) в 1857 г. В галерею персонажей попал и Батюшков (строфа 30) с намеками на его болезнь, изоляцию и мрачные мотивы в “Умиравшем Тассе”:

Чудо! – под окном на ветке
Крошка Б<атюшков> висит
В светлой проволочной клетке;
В баночку с водой глядит,
И поет он сладкогласно:
“Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись на дно – ужасный
Крокодил на нем лежит”. [25, с. 299]

Для Н.М. Коншина, с его поздним пессимистическим мировосприятием, зрелище дома скорби не могло быть литературной условностью, и вид его обитателя (скорее всего это было реальное лицо) вызывал в нем искреннее сострадание, что отразилось в стихотворении 1840 г. “Пристав дома сумасшедших к посетительнице”.

В светской повести Н.Ф. Павлова “Маскарад” (1835) доктор, объясняя графине загадочную личность Левина, указывает на его особенную болезнь: “Тяжелое чувство одиночества овладело им, припадок странного сумасшествия терзал его душу. В многолюдных залах и гостиных ему все представлялось, что он наедине с самим собою” [26, с. 103]. Мучившее его состояние неудовлетворенности жизнью разрешается в счастливом браке, но смерть жены вновь повергает Левина в помешательство, в которое вовлекается в конце повести и графиня. Над всеми людьми, над их чувствами и поступками царит безумие, его власть неодолима – такова мысль автора.

Событием, оказавшимся под знаком психической аномалии и получившим небывалый общественный резонанс, стало появление в “Телескопе” в 1836 г. первого “Философического письма” П.Я. Чаадаева, вместе со всем, что за тем последовало.

Причины и смысл неожиданного выступления Чаадаева на поприще историософской публицистики именно с таким текстом, сильного эффекта которого он, несомненно, желал, кроются

в свойствах его личности и в том, что происходило с ним до того.

В высшей степени уважительно относившийся к Чаадаеву как интеллектуалу и общественному деятелю его поздний друг и доверенное лицо М.И. Жихарев беспристрастно охарактеризовал личные свойства автора “Философических писем” и изложил обстоятельства его жизни.

Описывая сопровождавшее Чаадаева с юности восхищение окружающих его светскими достоинствами, талантами, необычным складом ума, Жихарев показывает развитие в нем “того эгоизма и того жестокого, немилосердного себялюбия, которые, конечно, родились вместе с ним <...> были в нем возделаны, взлелеяны и вскормлены сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим”, и впоследствии этот эгоизм “получил беспощадный, кровожадный, хищный характер” [27, с. 55]. Этому сопутствовали чрезвычайное тщеславие и “честолюбивые мечтания”, которые развились в Чаадаеве, замечает Жихарев, “почти до безумия” [27, с. 118].

На таком фоне отставка 1821 г., с так и не выясненными причинами, крушение карьеры представляются жизненной катастрофой с болезненными для психики последствиями. Жихарев сообщает о наступившем “нехорошем состоянии здоровья” Чаадаева, об “упадке духа” и заключает, что “здоровый человек превратился в болезненного” [27, с. 80, 81]. “Поселившись в Москве, – рассказывает Жихарев, – <...> он предался некоторого рода отчаянию. <...> Уже грозили помешательство и маразм” [27, с. 85].

Невозможность восхождения по служебным ступеням российской государственности, недоступность вожеленного высокого положения стали тяжелой травмой и вызвали отложенную невротическую реакцию. В середине 1820-х годов она получила интеллектуальное выражение. Ее можно определить как когнитивную агрессию, приведшую Чаадаева к историософскому нигилизму в отношении России, что и обусловило пафос первого “Философического письма”. Французский язык письма был призван придать тексту общеевропейскую логико-понятийную форму, дистанцирующую высказывание и автора от всякой умственной и моральной субъективности. Умонаправлению Чаадаева способствовало то, что он в 1823–1826 годах усердно изучал историю и культуру европейских стран во время путешествия, собираясь написать некий труд об этом и сопоставить с ними Россию; там же он проходил лечение от ипохондрии. Сравнительно с глубоким знанием западной цивилизации,

замечает Жихарев, “всего менее удовлетворительно он знал русскую историю” [27, с. 87]. Андрей Иванович Дельвиг находил у него “совершенное незнание России, потребностей народа и привычку к оппозиции” [28, т. 1, с. 178], что позже привело к намерению ответить на слухи об освобождении крестьян сочинением, доказывающим необходимость крепостного права.

В ходе обсуждения “Письма” в разных слоях общества раздавались как эмоционально негодующие голоса, так и вполне разумные возражения. “Просвещенное меньшинство, — пишет Жихарев, — находило статью высоко-замечательной, но вконец ложною, чему, по его понятиям, причиною был принятый за точку отправления и в основание положенный чрезвычайно затейливый и сциентифически обманчивый софизм” [27, с. 99].

В пришедшей из Петербурга официальной бумаге говорилось, что “достойный сожаления соотечественник, автор статьи, страдает расстройством и помешательством рассудка”, и предлагалось “казенное медицинское пособие” [27, с. 102]. Около месяца Чаадаев находился под наблюдением врача полицейской части, для консультации к нему приезжал заведующий психиатрической клиникой (вероятно, это был упомянутый выше В.Ф. Саблер), после этих формальных визитов его опекал давний приятель, ранее часто его лечивший, московский доктор Гульковский. Чаадаев пребывал в подавленном настроении, бессмысленную попытку объяснить с С.Г. Строгановым, попечителем Московского учебного округа, Жихарев называет “действием, исполненным трусости и малодушия” [27, с. 102]. А вот к своему деятельному заступнику московскому генерал-губернатору Д.В. Голицыну Чаадаев не обнаружил никакой благодарности, хотя именно его стараниями он был вскоре прощен и освобожден от всякого надзора.

Допуская некоторые психопатические состояния у Чаадаева, нужно заметить, что он знал их за собой и тоже делал предметом самолюбования. С.В. Энгельгардт вспоминала, что он “был влюблен в себя самого” и «говаривал иногда не без удовольствия: “*Mon illustre demenée*»» [29, № 10, с. 698].

Активный литературный и психологический интерес в 1830–1840-е годы к сюжетам безумия, если взять всю совокупность его эпизодических и разножанровых выражений, дает определенную картину познавательных и мировоззренческих перемен. Вполне очевидно, что происходило

значительное изменение представлений о человеке¹⁰, обо всей антропосфере, изменение самосознания. Человек классический и романтический переходил в область человека реального с открывшимися для изучения и изображения свойствами, которые прежде находились за пределами культурного поля.

В.Ф. Одоевский в те годы продолжал разрабатывать тему безумия в романтическом русле, следуя концепции гениальности как формы сумасшествия; в 1844 г. он собрал почти все такие тексты в “Русских ночах”. В литературных иллюстрациях этой концепции он прибегал к смешению исторических фактов с преданиями, домыслами и фантазиями, как и любимый им Гофман в своих “Фантазиях в манере Калло”, с входящими в них “Кавалером Глюком”, “Крейслерианой”. У Одоевского в “Последнем квартете Бетховена”¹¹ (1831) дан эпиграф из “Серрапионовых братьев” Гофмана о сумасшествии Креспеля [31, с. 79]¹². Именно по поводу этого произведения композитора исполнители квартета, “приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения”, выразившееся в нем “темное, не понимающее себя чувство” приписывали сумасшествию автора, “иногда омрачавшему его творческое дарование” [31, с. 79]. И главный персонаж “Русских ночей” Фауст склонен видеть в Бетховене “род помешательства” [31, с. 84], находя, что в его музыке “сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль” [31, с. 85].

В описанном некими друзьями Фауста герое рассказа “*Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi*” (впервые опубликован в 1832 г.) изображен безумный старик, названный именем итальянского архитектора Дж. Пиранези, автора гравюр с архитектурными фантазмагориями. Он одержим мыслью создать величайшие по замыслу, но невозможные в реальности сооружения. Он, бывший художник, узнал на своем опыте, что в творчестве заключен убивающий душу демон: “В каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое

¹⁰ Ср. такие представления в наиболее оригинальном труде А.И. Галича “Картина человека” [30].

¹¹ Произведение Бетховена не названо точно; скорее всего, это струнный квартет № 16, F-dur, op. 135, 1826 года.

¹² См. также: [32, т. 2, с. 35–36]. В “Русских ночах” влияние “Серрапионовых братьев” (1819–1821) наиболее очевидно и предметно: отсюда проистекают заявленные Гофманом с самого начала мотивы безумия (сошедший с ума граф П***, считающий себя пустынным Серрапионом, помешавшийся Креспель), отсюда происходит форма повествования, организованного как собеседование собравшихся для того четырех друзей, и т.п.

здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу” [31, с. 32]. В великом творце изначально живет великое безумие.

Но под безумием Одоевский все-таки подразумевает не собственно клиническую психопатию — в его истолковании сумасшествие очищается от тяжелых психозов, от неэстетичных нейросоматических проявлений; он локализует его в чисто ментальной сфере и там рассматривает через теоретико-романтические очки. В тексте, вставленном во вторую из “Русских ночей” (ему предпослан многозначительный эпиграф: “*Humani generis mater, nutrixque profecto dementia est*”¹³), друзья Фауста развивают апологию сумасшедшего¹⁴: “Мы говорим — понятия сумасшедших нелепы: но никакой здоровый человек не в состоянии собрать в один пункт столько многообразных идей о предмете. И это явление, нельзя не сознаться, весьма подобно тому мгновению, в которое человек делает какое-либо открытие” [31, с. 25]. И далее поясняют: “Словом, то, что мы часто называем безумием, экстатическим состоянием, бредом, не есть ли иногда высшая степень умственного человеческого инстинкта, степень столь высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для обыкновенного наблюдения?” [31, с. 26]. С этой позиции отвергается мнение врачей о том, что сумасшествие есть просто болезнь, и утверждается, что самой медицине известны случаи, когда мозг пациентов обнаруживал необычайные способности восприятия. И Фауст (а вместе с ним и Одоевский) склонен предпринять “исследование некоторых людей, которые, живя между другими, в большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших” [31, с. 26]. Что и осуществил через двадцать лет Ч. Ломброзо.

У Одоевского его версия “высокой болезни” с ее романтическими симптомами оставалась центральным пунктом художественной антропологии. Продолжая ее не столько развивать, сколько иллюстрировать, он варьирует сюжеты, незначительно меняет характеры и положения персонажей, но неизменно изображает как кульминацию их душевной жизни явленные им откровения иных миров. В повести “Сильфида” (1837) другу рассказчика Михаилу Платоновичу явилось в чудесной “вазе с солнечною водою”

[33, с. 282] видение живой женщины, которая стала его возлюбленной и увлекала его в иной, высший мир, где все прекрасно и не так, как в мире здешнем, обычном, — там “веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки”, “там самая мысль сливается с желанием” [33, с. 287, 291]. Повторяется история Ансельма и Серпентины, описанная в “Золотом горшке” Гофманом. В “Сильфиде” же ученый врач видит причину в воздействии каббалистического чтения на “мозговые нервы” страдавшего ипохондрией героя. Доктор вместе с приятелем Михаила Платоновича берется за лечение, и наступает выздоровление, но вместе с тем происходит “загрубление” чувств пациента, и для него становится недоступным другой мир. Утрату возможного творческого счастья герой переживает в последнем порыве: “А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его!” [33, с. 293]. Если перевести это на чеховский язык 1893 года, предстанет Коврин, который после встреч с черным монахом “уже верил тому, что он избранник божий и гений” [34, с. 257]. Врач Чехов считал, что помешательство в такой острой форме происходит от поражения всего организма и должно привести к летальному исходу, который и описан в финале повести.

Несколько отклоняясь от названной концепции, Одоевский, заинтересовавшийся тогда магнетизмом, рассматривает безумие уже как клинический случай в повести “Косморама” (1839), в которой он, наряду с лечащим врачом Бином, вводит его двойника — тоже врача, но из другого мира, объясняющего герою, что он действительно помешался и что “оно так и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире говорит языком нашего” [35, с. 193], что бывает с ним в бреду во время “магнетического сна”. Свои прозрения в иной мир герой приписывает шотландскому “второму зрению” и надеется, что “этот род нервической болезни проходит с годами” [35, с. 225]. Но Одоевский лишает его такой надежды и оставляет “гибельную дверь души” открытой, и герой сознает, что, оставаясь жильцом здешнего мира, принадлежит другому, где вынужден быть не созерцателем, но “действителем”, исполняя свое роковое предназначение [35, с. 233]. С вошедшим в моду учением об “органическом магнетизме” связан и рассказ Одоевского “Орлахская крестьянка” (1842) из цикла “Беснующиеся”. В нем описана трагедия девушки Энхен, страдавшей падучей болезнью и мучимой вселившимся в нее

¹³ “Мать рода человеческого и кормилица его это, конечно, безумие” (лат.).

¹⁴ Так назвал Чаадаев свою статью, содержащую разъяснение идей первого “Философического письма” и оправдание своей позиции, написанную на французском языке в 1837 г.

духом человека, совершившего некогда страшные преступления.

Обращение А.И. Герцена к теме психопатии было связано с мыслью о тотальном безумии рода человеческого. Изложить ее с медицинской аргументацией он поручил врачу в повести “Доктор Крупов” (1847), придав ей форму записок специалиста по сравнительной психиатрии. Крупов, основываясь на своем опыте и научных данных, отвергает “придуманную разумность и необходимость всех народов и событий”, считает, что “надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия”, и заключает: “история – горячка”, “история – автобиография сумасшедшего” [36, т. 4, с. 264]. Продолжена эта мысль в повести “Поврежденный” (1851), герой которой, говорит автор, “с самого первого разговора удивил меня независимой отвагой своего больного ума” [36, т. 7, с. 371]. Однако “поврежденность” Евгения Николаевича здесь скорее литературный прием, предназначенный заинтересовать читателя необычным персонажем в колоритной обстановке. Мнения его резки, но вполне разумны, когда он говорит, что человек страдает хроническим *historia morbus* (недуг истории – *лат.*) и уверяет, что “болезнь исторического развития идет из Европы” [36, т. 7, с. 374].

Дальнейшее движение темы в литературе пришло к ее реалистической разработке, достигшей своих вершин, в “Красном цветке” В.М. Гаршина (1883), в “Палате № 6” (1892). Следующая фаза относится к эпохе модернизма и связана с умонастроениями декаданса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Петрушин В.И.* Музыкальная психотерапия. Теория и практика. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 176 с.
2. *Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1990–1994.
3. *Foucault M.* Histoire de la folie à l'âge classique. P.: Gallimard, 1972. 587 p.
4. *Иоанн Ковалевский, свящ.* Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви. М.: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1902. 308 с.
5. *Грякалова Н.Ю.* “Психопаты”: История понятия и его литературные трансформации на рубеже XIX–XX веков // Русская литература. 2022. № 3. С. 41–49.
6. *Пастернак Б.Л.* Собр. сочинений: В 5 т. М.: Худож. лит., 1989–1992.
7. *Фещенко В.* Между бедностью языка и бездной речи. Распад логоса как поэтический процесс // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 229–244.
8. *Lombard E.* De la Glossolalie chez les premiers chrétiens et des phénomènes similaires: Étude d'exégèse et de psychologie. Lausanne: Imprimeries Réunies. G. Bridel, 1910. 284 p.
9. *Белянин В.П.* Введение в психиатрическое литературоведение. München: Verlag Otto Sagner, 1996. 281 с.
10. *Pinel Ph.* Traité medico-philosophique sur l'alienation mentale. P.: J.Ant. Brosson, 1809. 496 p.
11. [*Бутковский П.А.*] Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании доктором медицины Петром Бутковским. Часть первая. СПб.: Типография И. Глазунова, 1834. 122 с.
12. *Батеньков Г.С.* Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск: Восточносибирское книжное изд-во, 1989.
13. *Трубецкова Е.Г.* “Новое зрение”: Болезнь как прием остранения в русской литературе XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 304 с.
14. *Богданов К.А.* Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М.: ОГИ, 2005. 504 с.
15. *Батюшков К.Н.* К другу. Избр. произведения и письма. М.: Парад, 2007. 608 с.
16. *Батюшков К.Н.* Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1978. 608 с. (Сер. “Литературные памятники”).
17. *Larinsky N.E.* K.N. Batushkov. Uzrf.ru.2015-01-13.
18. *Lombroso C.* Genio e follia: prelezione ai corsi di antropologia e clinica psichiatrica presso la R. Università di Pavia. Milano: Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi, editore, 1864. 46 p.
19. *Щастный В.Н.* Безумный // Поэты 1820–1830-х годов: В 2 т. Л.: Сов. писатель, 1972. Т. 1. С. 528. (Б-ка поэта, большая серия. Изд. 2-е).
20. *Боратынский Е.А.* Полн. собр. сочинений и писем. М.: Языки славянской культуры. Т. 2. Ч. 1. Стихотворения 1823–1834 годов. 2002. 440 с.
21. *Кони А.Ф.* Слово о Фигнере // Фигнер Н.Н. Воспоминания. Письма. Материалы. Л.: Музыка, 1968. С. 40–44.
22. *Полевой Н.А.* Избр. произведения и письма. Л.: Худож. лит., 1986. 584 с.
23. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. сочинений. Письма. В 6 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1849. М.: Классика, 2002. 528 с.

24. *Вельтман А.Ф.* Неистовый Роланд // Русские повести XIX века 20-х – 30-х годов: В 2 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1950. Т. 1. С. 523–552.
25. *Воейков А.Ф.* Дом сумасшедших // Поэты 1790–1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 292–302. (Б-ка поэта, большая серия. Изд. 2-е).
26. *Павлов Н.Ф.* Сочинения. М.: Советская Россия, 1985. 304 с.
27. *Жихарев М.И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С. 48–119.
28. *Дельви́г А.И.* Мои воспоминания. В 4 т. М.: Московская публичная библиотека, Румянцевский музей, 1912–1913.
29. *Энгельгардт С.В.* Из воспоминаний // Русский вестник. 1887. № 9–10.
30. *Галич А.И.* Картина человека. Опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1834. 677 с.
31. *Одоевский В.Ф.* Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 320 с.
32. *Гофман Э.-Т.-А.* Собр. сочинений: В 6 т. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1896–1898.
33. *Одоевский В.Ф.* Сильфида // Одоевский В.Ф. Повести и рассказы. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1959. С. 272–294.
34. *Чехов А.П.* Черный монах // Чехов А.П. Полн. собр. сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1977. Т. 8. С. 226–257.
35. *Одоевский В.Ф.* Косморама // Русская фантастическая проза XIX – начала XX века. М.: Правда, 1991. С. 183–233.
36. *Герцен А.И.* Собр. сочинений: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954–1966.
- Aleksey Dmitrievitch Stupin Publ., 1902. 308 p. (In Russ.)
5. Griakalova, N.Ju. “*Psikhopatyy*”: *Istoria poniatiia i ego literaturnye transformatsii na rubezhe XIX–XX vekov* [“Psychopaths”: The History of the Concept and its Literary Transformations at the Turn of the XIX–XX Centuries]. *Russkaia literatura* [Russian literature]. 2022, No. 3, pp. 41–49. (In Russ.)
6. Pasternak, B.L. *Sobranie sochineniy v 5 t.* [Complete Works in 5 Volumes]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1989–1992. (In Russ.)
7. Feschenko, V. *Mezhdru bednostju jazyka i bezdnoy rechi. Raspad logosa kak poeticheskiy protsess* [Between the Poverty of Language and the Abyss of Speech. The Disintegration of the Logos as a Poetic Process]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review]. 2014, No. 1, pp. 229–244. (In Russ.)
8. Lombard, E. *De la Glossolalie chez les premiers chrétiens et des phénomènes similaires: Étude d'exégèse et de psychologie.* Lausanne, G. Bridel Publ., 1910. 284 p. (In French)
9. Belianin, V.P. *Vvedenie v psikhiatricheskoe literaturovedenie* [Introduction to Psychiatric Literary Criticism]. München, Verlag Otto Sagner, 1996. 281 p. (In Russ.)
10. Pinel, Ph. *Traité medico-philosophique sur l'alienation mentale.* Paris, J. Ant. Brosson Publ., 1809. 496 p. (In French)
11. Butkovsky, P.A. *Dushevnyye bolezni, izlozhennyye soobrazno nachalam nyneshnego uchenia psikhiiatriy v obschem i chastnom, teoreticheskom i prakticheskom soderzhanii* [Mental Illnesses Described in Accordance with the Modern Principles of Psychiatry, in General and Particular, Theoretical and Practical Content]. Part 1. St. Petersburg, I. Glazunov Publ., 1834. 122 p. (In Russ.)
12. Batenkov, G.S. *Sochinenia i pisma v 2 t.* [Works and Letters in 2 Volumes]. Irkutsk, Vostochnosibirskoe knizhnoe Publ., 1989. (In Russ.)
13. Trubetskova, E.G. “*Novoe zrenie*”: *Bolezn kak priem ostraneniya v russkoy literature XX veka* [“New vision”: Illness as a Method of Exclusion in Russian Literature of the 20th Century]. Moscow, Novoe literaturnoe Obozrenie Publ., 2019. 304 p. (In Russ.)
14. Bogdanov, K.A. *Vrachy, patcienty, chitately: patograficheskie teksty russkoy kultury XVIII–XIX vekov* [Doctors, Patients, Readers: Pathographic Texts of Russian Culture of the 18th–19th Centuries]. Moscow, OGI Publ., 2005. 504 p. (In Russ.)
15. Batushkov, K.N. *K drugu. Izbrannyye proizvedeniia i pisma* [To a Friend. Selected Works and Letters]. Moscow, Parad Publ., 2007. 608 p. (In Russ.)
16. Batushkov, K.N. *Opyty v stikhah i proze* [Essais in Poetry and Prose]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 608 p. (In Russ.)

REFERENCES

1. Petrushin, V.I. *Muzykalnaia psikhoterapia. Teoria i praktika* [Musical Psychotherapy. Theory and Practice]. Moscow, Gumanitarnyj izdatelskiy tzentр VLADOS Publ., 1999. 176 p. (In Russ.)
2. Platon. *Sobraniye sochineniy v 4 t.* [Complete Works in 4 Volumes]. Moscow, Mysl Publ., 1990–1994. (In Russ.)
3. Foucault, M. *Histoire de la folie à l'âge classique.* Paris, Gallimard, 1972. 587 p. (In French)
4. Kovalevsky Ioann, priest. *Jurodstvo o Khriste i Khrista radi jurodivyye Vostochnoy i Russkoy Tserkvi* [Foolishness about Christ and for Christ's Sake, the Fools of the Eastern and Russian Churches]. Moscow,

17. Larinsky, N.E. K.N. Batushkov. Uzrf.ru.2015-01-13. (In Russ.)
18. Lombroso, C. *Genio e follia: prelezione ai corsi di antropologia e clinica psichiatrica presso la R. Universita' di Pavia*. Milano, Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi, editore, 1864. 46 p.
19. Schastny, V.N. *Bezumnyj* [Mad]. *Poety 1820–1830 godov v 2 t.* [Poets of 1820–1830 in 2 Vols.]. Leningrad, Sovetsky pisatel Publ., 1972, Vol. 1, p. 528. (In Russ.)
20. Boratynsky, E.A. *Polnoye sobraniye sochineniy* [Complete Works]. Vol. 2. Part 1. Moscow, Yazyki slavianskoy kultury Publ., 2002. 440 p. (In Russ.)
21. Kony, A.F. *Slovo o Fignere* [Speech about Figner]. *Figner N.N. Vospominania. Pisma. Materialy* [N.N. Figner. Memories. Letters. Materials]. Leningrad, Muzyka Publ., 1968, pp. 40–44. (In Russ.)
22. Polevoy, N.A. *Izbrannyye proizvedeniya i pisma* [Selected Works and Letters]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986. 584 p. (In Russ.)
23. Tutchev, F.I. *Polnoye sobraniye sochineniy v 6 t.* [Complete Works in 6 Volumes]. Vol. 1. Moscow, Klassika Publ., 2002. 528 p. (In Russ.)
24. Veltman, A.F. *Neistovy Roland* [Furious Roland]. *Russkie povesty XIX veka 20–30 godov v 2 t.* [Russian novellas 1820–1830 in 2 Volumes]. Moscow; Leningrad, Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvennoy literatury Publ., Volume 1, 1950, pp. 523–552. (In Russ.)
25. Voejkov, A.F. *Dom sumasshedshikh* [The Madhouse]. *Poety 1790–1810 godov* [Poets of 1790–1810]. Leningrad, Sovetsky pisatel Publ., 1971, pp. 292–302. (In Russ.)
26. Pavlov, N.F. *Sochineniya* [Works]. Moscow, Sovetskaya Rossia Publ., 1985. 304 p. (In Russ.)
27. Zhikharev, M.I. *Dokladnaya zapiska potomstvu o Petre Yakovleviche Chaadaeve* [A Memo to Posterity about Peter Yakovlevich Chaadaev]. *Russkoe obschestvo 30 godov XIX v. Liudi i idei. Memuary sovremennikov* [Russian Society of the 30s of the 19th Century. People and Ideas. Memoirs of Contemporaries]. Moscow, Moscow University Publ., 1989, pp. 48–119. (In Russ.)
28. Delvig, A.I. *Moi vospominaniya v 4 t.* [My Memories in 4 Volumes]. Moscow, Moskovskaya publichnaya biblioteka, Rumiantsevsky muzej Publ., 1912–1913. (In Russ.)
29. Engelhardt, S.V. *Iz vospominaniy* [From Memories]. *Russky vestnik* [Russian Herald]. 1887, No. 9–10. (In Russ.)
30. Galitch, A.I. *Kartina cheloveka* [The Picture of Man]. St. Petersburg, Tipografia Akademii nauk Publ., 1834. 677 p. (In Russ.)
31. Odoevsky, V.F. *Russkie nochi* [Russian Nights]. Leningrad, Nauka Publ., 1975. 320 p. (In Russ.)
32. Gofman, E.-T.-A. *Sobranie sochineniy v 6 t.* [Complete Works in 6 Vols]. St. Petersburg, Tipografia br. Pantelevykh Publ., 1896–1898. (In Russ.)
33. Odoevsky, V.F. *Silfida* [Sylph]. Odoevsky, V.F. *Povesti i rasskazy* [Novellas and Short Stories]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1959, pp. 272–294. (In Russ.)
34. Tchekhov, A.P. *Tchernyj monakh* [The Black Monk]. Tchekhov, A.P. *Polnoe sobranie sochineniy v 30 t.* [Complete Works in 30 Volumes]. Vol. 8. Moscow, Nauka Publ., 1977, pp. 226–257. (In Russ.)
35. Odoevsky, V.F. *Kosmorama* [Cosmorama]. *Russkaia fantasticheskaia proza XIX – nachala XX veka* [Russian Fantastic Prose of the 19th – early 20th century]. Moscow, Pravda Publ., 1991, pp. 183–233. (In Russ.)
36. Gertsen, A.I. *Sobranie sochineniy v 30 t.* [Complete Works in 30 Vols]. Moscow, Izdatelstvo Akademiy nauk SSSR Publ., 1954–1966. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 3 декабря 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 12 декабря 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on December 3, 2022

Revised on December 12, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024641-1

Как соотносятся “индивидуальные речевые системы” и “языковая система” в концепции Л. В. Щербы

© 2023 г. М. Ю. Федосюк

Доктор филологических наук,
профессор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13
m.fedosyuk@yandex.ru

Резюме. В статье рассматривается соотношение понятий “индивидуальные речевые системы” и “языковая система” в лингвистической концепции Л.В. Щербы. Как показывает Л.В. Щерба, важнейшим ресурсом, обеспечивающим речевую деятельность человека, является не абстрактное знание системы языка, а языковой материал, представляющий собой совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. В той мере, в какой языковой материал получает отражение в памяти каждого отдельного носителя языка, он формирует индивидуальные речевые системы, обеспечивающие каждому человеку способность к рецепции и продукции речи. Рассматриваемый же во всей своей совокупности языковой материал создает основу для описания языковых систем, т.е. для составления словарей и грамматик данного языка. Индивидуальные речевые системы – явление психологическое, поэтому в план содержания единиц этих систем входят, с одной стороны, чувственные образы, возбуждаемые в сознании носителей языка этими единицами, а с другой – знания носителей языка об обозначаемых объектах. Что же касается языковых систем, то в концепции Л.В. Щербы это вербальные описания языка, и потому описание плана содержания языковых систем должно носить преимущественно словесный характер. В статье показано, что любые попытки описания языковой системы на основе всего существующего языкового материала на практике недостижимы. Обычно словари и грамматики составляются на основании ограниченного числа употреблений языковых единиц, которые отражают индивидуальные речевые системы некоторой части носителей языка. При составлении толковых словарей это обстоятельство может вызывать появление не вполне корректных толкований, обусловленное недостаточным количеством использованного языкового материала или ошибками, допущенными при его обобщении.

Ключевые слова: Л.В. Щерба, речевая деятельность, языковой материал, языковая система, индивидуальные речевые системы, толкования слов.

Для цитирования: Федосюк М.Ю. Как соотносятся “индивидуальные речевые системы” и “языковая система” в концепции Л.В. Щербы // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 17–23. DOI: 10.31857/S160578800024641-1

On How “Individual Speech System” and “the Language System” Relate in Lev Shcherba’s Conception

© 2023 Mikhail Yu. Fedosyuk

Doct. Sci. (Philol.),
Professor of the M.V. Lomonosov Moscow State University,
1–13, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
m.fedosyuk@yandex.ru

Abstract. The article discusses the relationship between the concepts of “individual speech systems” and “language system” in the linguistic conception of Lev Shcherba. As shown by Shcherba, the most important resource that ensures human speech activity is not an abstract knowledge of the language system, but the language material, which is the totality of everything spoken and understood in a certain specific situation in one or another era of life of a given social group. To the extent that language material is reflected in the memory of each individual speaker, it forms individual speech systems that provide each person with the ability to receive and produce speech. Considered in its entirety, the linguistic material creates the basis for describing language systems, i.e., for compiling dictionaries and grammars of a given language. Individual speech systems are a psychological phenomenon; therefore, the content of these systems’ units includes, on the one hand, sets of sensory images aroused in the minds of individual native speakers by these units, and on the other hand, the knowledge of these speakers about the designated objects. As for language systems, then, according to Shcherba, these are verbal descriptions of language, and therefore the description of content of elements of language systems should be predominantly verbal. The article shows that any attempts to describe the language system on the basis of all existing language material are unattainable in practice. Usually dictionaries and grammars are compiled on the basis of limited number of uses of language units that reflects the individual speech systems of a certain number of native speakers. When compiling explanatory dictionaries, this circumstance causes the appearance of not quite correct interpretations of words, due to the insufficient amount of language material used or errors made in its generalization.

Key words: Lev Shcherba, speech activity, language material, language system, individual speech systems, word interpretations.

For citation: Fedosyuk, M.Yu. *Kak sootnosyatsya “individual’nye rechevye sistemy” i “yazykovaya sistema” v koncepcii L.V. Shcherby* [On How “Individual Speech System” and “the Language System” Relate in Lev Shcherba’s Conception]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Serii literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 17–23. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024641-1

1. К постановке проблемы

Как известно, стремясь, во-первых, более точно охарактеризовать явления языка с психофизиологической точки зрения, а во-вторых, обосновать введение в научный оборот метода лингвистического эксперимента, Л.В. Щерба предложил разграничивать среди языковых явлений “речевую деятельность”, “языковую систему” и “языковой материал”. Однако, хотя статья Л.В. Щербы и называется “О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании”, в ней прослеживается еще и четвертый аспект – “индивидуальные речевые системы”, к сопоставлению которого с другими аспектами мы и обратимся в этой статье.

Речевая деятельность (ее Л.В. Щерба характеризует как “первый аспект языковых явлений”) определяется им как “процессы говорения и понимания” [1, с. 24]. Анализируя речевую деятельность (однако, как подчеркивает Л.В. Щерба, “не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы” [1, с. 25]), человечество создает словари и грамматики. Их Л.В. Щерба предлагает именовать языковыми системами, отмечая при этом, что языковые

системы представляют собой “второй аспект языковых явлений”. “Правильно составленные словарь и грамматика, – пишет Л.В. Щерба, – должны исчерпывать знание данного языка. Мы, конечно, далеки от этого идеала; но я полагаю, что достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке” [1, с. 25–26].

«Словарь и грамматика, т.е. языковая система данного языка, – читаем мы далее, – обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений. В силу этого язык считался психофизиологическим явлением, подлежащим ведению психологии и физиологии. Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции “языковым материалом” (третий аспект языковых явлений). Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого

и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это "тексты" (которые, к сожалению, обыкновенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в представлении старого филолога это "литература, рукописи, книги"» [1, с. 26].

«Что же такое сама языковая система? — резюмирует свои рассуждения Л.В. Щерба. — По-моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы» [1, с. 28]. Трудно не заметить, что здесь в рассуждениях ученого появляется термин индивидуальные речевые системы, который можно было бы считать обозначением еще одного, четвертого, языкового явления в концепции Л.В. Щербы. И если статуса четвертого языкового явления у этого термина нет, то, возможно, по причине колебаний, которые испытывал Л.В. Щерба, вводя данный термин.

«Прежде всего, — читаем мы у Л.В. Щербы, — возникает вопрос, в каком отношении находится "психофизиологическая речевая организация" владеющего данным языком индивида к этой выводимой лингвистами из языкового материала языковой системе. Очевидно, что она является ее индивидуальным проявлением. В идеале она может совпадать с ней, но на практике организации отдельных индивидов могут чем-либо да отличаться от нее и друг от друга. Их, пожалуй, можно было бы действительно называть "индивидуальными языками", если бы в подобном названии не крылось глубокого внутреннего противоречия, ибо под языком мы разумеем нечто, имеющее прежде всего социальную ценность. <...> Терминологически, может быть, лучше всего было бы говорить поэтому об "индивидуальных речевых системах"» [1, с. 27–28].

Итак, основу владения любым языком в концепции Л.В. Щербы составляет языковой материал, т.е. совокупность всего говоримого и понимаемого на данном языке. При этом, с одной стороны, из хранящегося в памяти каждого из носителей языка языкового материала эти носители выводят свои индивидуальные речевые системы. А с другой стороны, на основе хранящегося в коллективной памяти большинства носителей языка языкового материала лингвисты получают возможность описывать языковую

систему, т.е. составлять словари и грамматики данного языка.

Однако как соотносятся индивидуальные речевые системы носителей языка с языковой системой? Представляется, что этот вопрос заслуживает специального рассмотрения, к которому мы ниже и перейдем.

2. Как устроены "индивидуальные речевые системы"

Представляется, что в наши дни концепцию Л.В. Щербы наиболее активно развивает Б.М. Гаспаров. Он отмечает: "<...> основу языкового умения составляют не абстрактные правила, с помощью которых можно было бы создавать различные построения из языкового материала, — но скорее сам этот материал как первичная данность, усваиваемый в конкретной форме и применительно к конкретным условиям употребления. Языковая память говорящего субъекта представляет собой грандиозный конгломерат, накапливаемый и развивающийся в течение всей его жизни. Она включает в себе в полусплавленном, ассоциативно подвижном, текучем состоянии гигантский запас коммуникативно заряженных частиц языковой ткани разного объема, фактуры, разной степени отчетливости и законченности <...>" [2, с. 104].

Демонстрируя, что содержательная сторона языкового материала хранится в памяти носителей языка (т.е., по Л.В. Щербе, в индивидуальных речевых системах) преимущественно в форме, с одной стороны, чувственных образов, а с другой — знаний о свойствах именованных объектов, Б.М. Гаспаров пишет: "Начну с простейшего примера. Слово 'трава', будучи употреблено в составе различных знакомых мне выражений, немедленно откликается в моих представлениях целым рядом образных картин: ярко-зеленая трава на поляне, окаймленной лесом; островки редкой, с пролысынами глинистой почвы, травы под стеной дома во дворе; высокая степная трава, нагретая солнцем, пронизанная яркими пятнами полевых цветов" [2, с. 247]. И далее: "Это свойство языкового образа делает возможным образный отклик на любые частицы языковой материи, даже если их значение само по себе не предполагает зрительного и вообще какого-либо материального воплощения. <...> Например, слово 'страх', смысл которого сам по себе не имеет зрительного воплощения, мыслится нами в составе множества коммуникативных фрагментов и их разрастаний, у которых такое воплощение имеется: 'сжался от страха', 'у страха глаза велики',

‘страх заставлял людей отворачиваться и проходить мимо’, ‘ночью на улицах города царил страх’ и т.п. В составе таких более широких образных картин ‘страх’ получает если не прямое, то хотя бы косвенное зрительное воплощение в качестве компонента-аксессуара этих картин” [2, с. 249–250].

3. “Индивидуальные речевые системы” и “языковая система”

Понятно, что описание языковой системы должно представлять собой обобщение как можно большего количества сведений из всего существующего языкового материала, включая и результаты лингвистических экспериментов. Однако в реальности такие описания строятся на материале более или менее ограниченного количества примеров, почерпнутых лингвистами из текстов, которые, естественно, отражают индивидуальные речевые системы отдельных носителей языка. Если речь идет о грамматиках, то в них должно быть обобщено значительное количество употреблений каждой из рассматриваемых грамматических единиц. В словарях же толкование любого слова должно обобщать те чувственные образы и знания, которые ассоциируются с образом звуковой оболочки данного слова в индивидуальных речевых системах достаточного количества носителей языка. Не случайно Л.В. Щерба писал: “Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала <...> Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией” [1, с. 286].

Здесь нам кажется важным подчеркнуть принципиальную разницу в устройстве планов содержания единиц, с одной стороны, индивидуальных речевых систем, а с другой — языковой системы. Как было показано выше со ссылкой на исследования Б.М. Гаспарова, содержательная сторона элементов индивидуальных речевых систем хранится в памяти носителей языка в форме чувственных образов, а также знаний о свойствах обозначаемых объектов. Что же касается языковой системы, то, по утверждению Л.В. Щербы, она представляет собой не что иное, как основу для описания языка посредством словарей и грамматик, и потому план содержания единиц языковой системы должен носить преимущественно вербальный характер. Как показал Б.М. Гаспаров, содержание слова *трава* хранится в его индивидуальной речевой системе в форме целого ряда

различных зрительных образов. Определение же лексического значения слова *трава* как элемента языковой системы представляет собой словесное обобщение этих образов, а также актуальных для всех носителей языка знаний об объекте “трава”. Именно так определено лексическое значение слова *трава* в толковых словарях, например, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: “Небольшое растение с однолетним мягким и тонким зелёным стеблем” [3, с. 795].

Приведем другой пример. Естественно предположить, что содержание слова *женщина* хранится в индивидуальных речевых системах носителей русского языка как набор многочисленных чувственных образов женщин, отражающих принципиально важные особенности их фигур, внешностей, голосов и одежды. Однако в логически корректных определениях лексического значения слова *женщина* отражено лишь не связанное с этими образами важнейшее знание носителей языка о женщинах: по определению толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, *женщина* — это “лицо, противоположное мужчине по полу, та, к<ото>рая рождает детей и кормит их грудью” [3, с. 187].

К сожалению, на практике “абсолютная достоверность словарей живых языков”, о которой писал Л.В. Щерба, бывает достигнутой далеко не всегда. В одних случаях отсутствие этой достоверности возникает по причине использования лексикографами недостаточного количества материала индивидуальных речевых систем, а в других — из-за некорректного обобщения этого материала.

Иллюстрируя ошибки, обусловленные недостаточным количеством материала, сопоставим толкования прямого значения слова *винегрет* в наиболее известных толковых словарях русского языка, изданных в XX — начале XXI в.:

(1.1) “Приготовляемое с уксусом или без него холодное кушанье из смеси изрезанных на кусочки овощей, яиц, мяса, рыбы” (Словарь Д.Н. Ушакова) [4, т. 1, стб. 294];

(1.2) “Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, мяса или рыбы, яиц с острым соусом” (Словарь С.И. Ожегова) [5, с. 68];

(1.3) “Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей с уксусом, маслом и др. приправами” (Малый академический словарь) [6, т. 1, с. 176];

(1.4) “Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, мяса или рыбы, яиц, с соусом, маслом” (Словарь С.И. Ожегова — Н.Ю. Шведовой) [3, с. 80];

(1.5) “Холодное кушанье в виде смеси мелко нарезанных овощей (куда обязательно входит свекла, иногда рыба или мясо), приправленное растительным маслом, уксусом и т.п.” (Большой академический словарь) [7, т. 2, с. 573].

Как видим, все приведенные толкования, за исключением толкования (1.5), для описания современного русского языка недостаточно корректны, поскольку в них отсутствует указание на непереносимое наличие в винегрете свеклы. Этот обязательный признак, отличающий *винегрет* от *салата*, безусловно, входит в индивидуальные речевые системы всех наших современников. Авторы же приведенных выше толкований (1.1)–(1.4), судя по всему, ориентировались на материал индивидуальных речевых систем, получивших отражение в текстах преимущественно XIX в., когда слово *винегрет*, если использовать толкование В.И. Даля, означало “окрошка, но безъ квасу, а съ приправоу уксуса, горчицы и пр., холодное, смѣсь всячины” ([8, т. 1, с. 502]; подробнее см. [9, с. 72–83]).

Еще одним примером некорректного описания языковой системы по причине использования лексикографами недостаточного количества материала индивидуальных речевых систем может служить толкование в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова слова *облучок*. Опираясь на ограниченное количество имевшихся в их распоряжении контекстов, составители этого словаря охарактеризовали слово *облучок* как “то же, что козлы в I знач^{ении}” [4, т. 2, стб. 661], т.е. как “передок экипажа, на к^{ото}ром сидит кучер” [4, т. 1, стб. 1394]. Между тем, расширение материала индивидуальных речевых систем позволяет установить, что *облучок* – это не сиденье, а “толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая верхнюю часть саней” ([3, с. 422], см. подробнее [9, с. 125–132]).

Переходя к рассмотрению толкований, неполная корректность которых обусловлена не недостаточным количеством материала индивидуальных речевых систем, а плохим обобщением этого материала, сопоставим некоторые из толкований слова *лапа*:

(2.1) “Нога или стопа ноги у животных, а также (разг.) рука человека” (Словарь С.И. Ожегова) [5, с. 321];

(2.2) “Ступня или вся нога у животных и птиц (обычно крупных)” (Малый академический словарь) [6, т. 2, с. 163];

(2.3) “Ступня или вся нога у животных и птиц” (Большой толковый словарь русского языка) [10, с. 487];

(2.4) “У животных – ступня ноги с пальцами или вся нога целиком” (Словарь Д.Н. Ушакова) [4, т. 2, стб. 24].

(2.5) “Стопа ноги или вся нога у животных, имеющих подвижные конечные члены – пальцы, а также (прост.) о руке (реже о ноге) человека” (Словарь С.И. Ожегова – Н.Ю. Шведовой) [3, с. 313].

Очевидно, что индивидуальные речевые системы подавляющего большинства носителей русского языка включают в себя сведения о том, конечности у каких животных называются ногами, а у каких – лапами. Так, с хранящимися в индивидуальных речевых системах зрительными образами конечностей коз, свиней или слонов в сознании говорящих по-русски ассоциативно связано слово *нога*, а с образами конечностей кошек, собак или медведей – слово *лапа*. Однако как привязать совокупность сведений, хранящихся в индивидуальных речевых системах носителей языка, к логически корректной словарной дефиниции? Судя по всему, авторы толкований (2.1)–(2.3) корректного ответа на этот вопрос не нашли, тогда как он получил отражение в толкованиях (2.4) и (2.5). Едва ли толкования слова *лапа*, в которых явно содержится указание на наличие у лапы подвижных пальцев, хранятся в индивидуальных речевых системах людей, говорящих по-русски, однако само это слово ассоциативно привязано к зрительным образам конечностей, имеющих отмеченную особенность.

Еще более интересный пример – это толкования русских слов *мужчина* и *женщина*. Рассмотрим сначала словарные толкования слова *мужчина*:

(3.1) “Лицо, противоположное женщине по полу” (Словарь Д.Н. Ушакова) [4, т. 2, стб. 275];

(3.2) “Взрослый человек, лицо, противоположное женщине по полу” (Словарь С.И. Ожегова) [5, с. 373];

(3.3) “Лицо, противоположное по полу женщине” (Малый академический словарь) [6, т. 2, с. 309];

(3.4) “Лицо, противоположное по полу женщине” (Большой толковый словарь русского языка) [10, с. 562];

(3.5) “Лицо, противоположное женщине по полу” (Словарь С.И. Ожегова – Н.Ю. Шведовой) [3, с. 361].

Как видим, подавляющее большинство толковых словарей русского языка определяют *мужчину* как лицо, противоположное по полу *женщине*, однако, в чем состоит эта противоположность, не формируют. Если представить себе в качестве пользователя словаря иностранца, находящегося

за пределами России и изучающего русский язык только по книгам, то он может так и остаться в неведении о том, что означает слово *мужчина*.

Попробуем, однако, теперь проанализировать, как определяют словари слово *женщина*:

(4.1) “Лицо, противоположное мужчине по полу” (Словарь Д.Н. Ушакова) [4, т. 1, стб. 858];

(4.2) “Лицо, противоположное по полу мужчине” (Словарь С.И. Ожегова) [5, с. 183];

(4.3) “Лицо, противоположное по полу мужчине” (Малый академический словарь) [6, т. 1, с. 478];

(4.4) “Лицо, противоположное по полу мужчине” (Большой толковый словарь русского языка) [10, с. 303];

(4.5) “Лицо, противоположное мужчине по полу, та, <ото>ражает детей и кормит их грудью” (Словарь С.И. Ожегова – Н.Ю. Шведовой) [3, с. 187].

И здесь все толкования, кроме толкования (4.5), к сожалению, по не вполне понятным причинам недостаточно информативны, поскольку, указывая на то, что женщина противоположна по полу мужчине, не сообщают, в чем же именно состоит эта противоположность. Между тем, в той информации, которую содержит толкование (4.5), нет ничего неприличного, как нет и никакого несоответствия действительности – разумеется, если помнить, что толкования любых лексических значений отражают признаки не всех, а только “прототипических” объектов [11], в данном случае “прототипических” женщин – тех из них, которые рожают детей и кормят их грудью.

Еще одним проявлением некорректного обобщения при построении толкований слов материала индивидуальных речевых систем является включение в эти толкования энциклопедической информации. Сопоставим с этой точки зрения следующие два толкования слова *собака*:

(5.1) “Четвероногое прирученное или домашнее животное, издающее характерные звуки (лай) и служащее человеку в домашнем быту, преимущественно для охраны имущества, на охоте для отыскивания и преследования зверя или птицы и т.д.” (Словарь Д.Н. Ушакова) [4, т. 4, стб. 329];

(5.2) “Домашнее животное семейства псовых” (Словарь С.И. Ожегова – Н.Ю. Шведовой) [3, с. 728].

Очевидно, что предпочтение следует отдать толкованию (5.1). Что же касается толкования (5.2), то опора его авторов не на индивидуальные речевые системы носителей языка, а на неизвестный большинству этих носителей зоологический

термин *семейство псовых* никаких полезных для пользователей словаря сведений не несет. Напомним, что, призывая лексикографов не использовать в толкованиях слов той специальной энциклопедической информации, которая не соответствует знаниям рядовых носителей языка, Л.В. Щерба писал: “<...> нужно помнить, что нет никаких оснований навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе не свойственны и которые – главное и решающее – не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения” [1, с. 281].

4. Заключение

Из всего сказанного вытекает, что в соответствии с концепцией Л.В. Щербы важнейшим ресурсом, обеспечивающим речевую деятельность человека, является не знание системы языка, а языковой материал. Он представляет собой “совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы” [1, с. 26]. В той мере, в какой языковой материал получает отражение в памяти каждого отдельного носителя языка, он формирует индивидуальные речевые системы, обеспечивающие каждому человеку способность к рецепции и продукции речи. Рассматриваемый же во всей своей совокупности языковой материал создает основу для описания языковых систем, т.е. для построения словарей и грамматик данного языка.

Индивидуальные речевые системы – это явление психофизиологического характера: содержательная сторона компонентов индивидуальных речевых систем хранится в памяти носителей языка в форме чувственных образов и знаний о свойствах обозначаемых объектов. Что же касается языковой системы, то она представляет не что иное, как описание языка, и потому описание плана содержания ее единиц должно носить преимущественно словесный характер.

Любые попытки описания языковой системы на основе всего существующего языкового материала, как мы попытались показать, на практике недостижимы. Обычно словари и грамматики составляются на основании не всего языкового материала, а на основе ограниченного материала, отражающего индивидуальные речевые системы определенного количества носителей языка. При составлении толковых словарей это обстоятельство вызывает появление не вполне корректных толкований слов, обусловленное недостаточным количеством использованного языкового материала или ошибками, допущенными при его анализе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Под ред. Л.Р. Зиндера и М.И. Матусевич. Л.: Наука, 1974.
2. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1995.
4. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1–4. М.: Советская энциклопедия, 1935. М.: Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1940.
5. Словарь русского языка / Составил С.И. Ожегов. М.: Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1949.
6. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 1–4. М.: Русский язык, 1981–1984.
7. Большой академический словарь русского языка. Т. 2. СПб.: Наука, 2005.
8. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка Т. 1–4. М.: Прогресс, Универс, 1994.
9. Добродомов И.Г., Пильщиков И.А. Лексика и фразеология "Евгения Онегина": Герменевтические очерки. М.: Языки славянских культур, 2008.
10. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2002.
11. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты // А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание / Отв. ред. М.А. Кронгауз. М.: Русские словари, 1996.
2. Gasparov, B.M. *Yazyk, pamyat, obraz: Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya* [Language, Memory, Image: Linguistics of Linguistic Existence]. Moscow, New Literary Review Publ., 1996. (In Russ.)
3. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Yu. *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Russian Explanatory Dictionary]. Moscow, Az Publ., 1995. (In Russ.)
4. *Tolkovyy slovar russkogo yazyka. Pod red. D.N. Ushakova. T. 1–4* [Explanatory Dictionary of the Russian Language. Edited by D.N. Ushakov, Vol. 1–4]. Moscow, Soviet Encyclopedia Publ., 1935. Moscow, State Publishing House of Foreign and National Dictionaries Publ., 1940. (In Russ.)
5. *Slovar russkogo yazyka. Sostavil S.I. Ozhegov* [Russian Dictionary. Compiled by S.I. Ozhegov]. Moscow, State Publishing House of Foreign and National Dictionaries Publ., 1949. (In Russ.)
6. *Slovar russkogo yazyka. Pod red. A.P. Evgenjevoj. T. 1–4* [Dictionary of the Russian Language. Edited by A.P. Evghenieva. Vol. 1–4]. Moscow, Russkij Yazyk Publ., 1981–1984. (In Russ.)
7. *Bolshoj akademicheskij slovar russkogo yazyka. T. 2* [The Great Academic Dictionary of the Russian Language. Vol. 2]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. (In Russ.)
8. Dahl, V. *Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka T. 1–4* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language Vol. 1–4]. Moscow, Progress, Univers Publ., 1994. (In Russ.)
9. Dobrodomov, I.G., Pilshchikov, I.A. *Leksika i frazeologiya "Evgeniya Onegina": Germenevticheskie ocherki* [Vocabulary and Phraseology of "Eugene Onegin": Hermeneutical Essays]. Moscow, Languages of Slavic cultures Publ., 2008. (In Russ.)
10. *Bolshoj tolkovyy slovar russkogo yazyka. Gl. red. S.A. Kuznecov* [The Big Explanatory Dictionary of the Russian Language. Editor-in-Chief S.A. Kuznetsov]. St. Petersburg, Norint Publ., 2002. (In Russ.)
11. Vezhbitskaya, A. *Prototipy i invarianty* [Prototypes and Invariants]. Vezhbitskaya, A. *Yazyk. Kultura. Poznanie. Otv. red. M.A. Krongauz* [Language. Culture. Cognition. Ed. by M.A. Krongauz]. Moscow, Russian Dictionaries Publ., 1996. (In Russ.)

REFERENCES

Дата поступления материала в редакцию: 8 декабря 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 13 декабря 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on December 8, 2022

Revised on December 13, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024638-7

К семантической типологии адъективной деривации в тунгусо-маньчжурских языках

© 2023 г. Н. Б. Пименова

Кандидат филологических наук,
доцент Национального исследовательского университета
“Высшая школа экономики”,
Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
n_pimenova@yahoo.com

Резюме. Статья посвящена разработке параметров исследования словообразования прилагательных с точки зрения семантической типологии. Рассматриваются основания семантической типологии словообразования и классификации производных прилагательных; показывается, что вследствие определенного “европоцентризма” параметры стандартных классификаций сдвинуты в сторону формально-содержательных образцов (формант ~ значение форманта). Тунгусо-маньчжурские языки демонстрируют возможность систем, в которых заметную роль играет корреляция между (специализированным) формантом с общим значением ‘признака’ и ограниченным семантическим классом основ. Особый типологический интерес представляют принципы семантической селекции основ. В тунгусо-маньчжурских языках прослеживается своеобразная специализация суффиксов на основах с “перцептивными” признаками (‘цвет’, ‘вкус’, ‘запах’ и т.п.), а также на основах с другими видами “ядерной” адъективной семантики. Прослеживается дистрибуция отдельных характеристик тунгусо-маньчжурского словообразования внутри языковой подгруппы и на ареальном фоне.

Ключевые слова: типология словообразования, прилагательные, семантические классы производных прилагательных, словообразовательные типы, системная продуктивность, прилагательные “ядерной” семантики, тунгусо-маньчжурские языки.

Для цитирования: Пименова Н.Б. К семантической типологии адъективной деривации в тунгусо-маньчжурских языках // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 24–36. DOI: 10.31857/S160578800024638-7

On the Semantic Typology of Adjective Derivation in the Tungus-Manchu Languages

© 2023 Natalia B. Pimenova

Cand. Sci. (Philol.),
Associate Professor at the National Research University
“Higher School of Economics”,
20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russia
n_pimenova@yahoo.com

Abstract. The article deals with parameters for the study of adjectival derivation from the point of view of semantic typology. The bases of semantic typology of word formation and classification of derived adjectives are considered. It is shown that the parameters of “Eurocentric” standard classifications are shifted towards formal-content samples (derivative formant ~ formant value). The Tungus-Manchu languages demonstrate a possible system in which a significant role has the correlation between a (specialized) formant with a general meaning of ‘property’ and a limited semantic class of derivational bases. Of particular typological interest

are the principles of semantic selection of derivational bases. In the Tungus-Manchu languages, there is a peculiar specialization of suffixes on bases with “perceptual” features (‘color’, ‘taste’, ‘smell’, etc.), as well as on other core semantic types of adjectives. The distribution of individual characteristics of the Tungus-Manchu word formation within the language subgroup and against the areal background is traced.

Key words: typology of word-formation, adjectives, semantic classes of derived adjectives, models of word-formation, system productivity, core adjectives, Manshu-Tungus languages.

For citation: Pimenova, N.B. *K semanticheskoj tipologii adjektivnoj derivacii v tunguso-manchzhurskih yazykah* [On the Semantic Typology of Adjective Derivation in the Tungus-Manchu Languages]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 24–36. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024638-7

I

В данной статье рассматриваются некоторые типологически своеобразные характеристики деривации прилагательных в тунгусо-маньчжурских языках. Как мы попытаемся показать, для выделения и корректного описания этих особенностей требуются адаптация и изменение существующих подходов к сопоставительному анализу и классификации производных прилагательных. Таким образом, в фокусе рассмотрения оказывается общая проблема типологического описания систем словообразования прилагательных в языках мира. Типологически ориентированное изучение словообразования прилагательных оказывается актуальным еще и потому, что эта область словопроизводства оказывается гораздо менее изученной, чем достаточно хорошо описанные в сопоставительном плане подсистемы словообразования существительных и глаголов.

При анализе общих оснований типологических исследований словообразования нельзя не отметить, что в настоящее время типология словообразования только формулирует свои задачи как самостоятельной дисциплины (ср. пионерскую статью Ливио Гаэты “Словообразование и типология: Что есть языковые универсалии?” [1]). Показательно, что ни в оксфордском компендиуме по деривационной морфологии [2], ни в рецензированных энциклопедиях по словообразованию [3], теории словообразования и словообразованию в языках Европы [4] типологическим проблемам не уделяется самостоятельного внимания. По умолчанию предполагается, что разработанные в теории словообразования категории и исследовательский инструментарий достаточны для межъязыкового сравнения, выделения универсальных или частотных языковых особенностей, а также для постановки новых исследовательских задач.

Если отвлечься от техники применения формантов (фономорфологии морфемных швов и последовательности присоединения аффиксальных

морфем), то наиболее общий подход к описанию и сравнению словообразовательных систем заключается в выделении набора формантов (и схем словосложения) и набора значений, ими выражаемых. Именно этот подход “поставляет” сопоставимые единицы и категории для семантико-типологического анализа. Он позволяет установить наиболее частотные виды значений, выражаемых словообразовательными средствами в языках мира и очертить как область стандартных значений (“универсальных”, например, ‘производитель действия’, ‘инструмент’ и т.п.), так и относительно специфичных. Кроме того, в зону внимания семантической типологии попадают частотные семантические переходы, приводящие к полисемии формантов (в иной терминологии: к появлению дополнительных значений у словообразовательных типов), например: ‘имеющий что-либо’ (*рогатый*) > с дополнительным компонентом интенсивности признака ‘имеющий что-либо в высокой степени’ (*носатый*), ‘имеющий, характеризующийся чем-либо’ (*дуплистый*, *мозолистый*) > ‘похожий на что-либо, имеющий похожие свойства’ (*змеистый*, *творожистый*) и т.п.

Как некоторую основу для семантико-типологических исследований можно рассматривать, кроме того, концепции, исследующие распределение значений между словоизменительными и словообразовательными морфемами. Так, в известной “лексемно-морфемной морфологии” Р. Бирда (Lexeme-morpheme base morphology) выделяются универсальные грамматические функции, которые задействованы как в грамматической деривации (в словоизменении), так и в лексической деривации (т.е. в словообразовании) [5, с. 189]. Соответственно, предметом типологического интереса может быть то, каким образом обозначение данных универсальных функций (*субъект*, *объект*, *локация*, *путь*, *цель*, *материал*, *посессивность* и т.д., всего 44 функции) распределяется между словоизменением и словообразованием, между грамматическими и словообразовательными формантами (показателями)

в языках разных типов. Однако универсальные функции Р. Бирда, выражаемые словообразовательными средствами, с некоторыми оговорками сводимы к уже известным словообразовательным значениям, ср. посессивный генитив в сочетании *платок сестры* и *сестрин платок* с прилагательным принадлежности. Иными словами, с точки зрения словообразования выделение универсальных функций ориентировано на обычный формально-содержательный подход.

Этот вполне корректный подход, как мы планируем показать далее, может оказаться недостаточным при изучении языков разных типов. Во-первых, набор базовых словообразовательных значений и индуцированная им типология были сформированы при исследовании материала индоевропейских и затем некоторых других европейских языков. Поэтому основы применяемой методологии оказываются, условно говоря, “европоцентричными” (ср. энциклопедию словообразования, охватывающую материал языков Европы [4]). Критические недостатки этой методологии заключаются не в том, что из сетки привычных значений могут выпадать отдельные “лингвистические редкости”, т.е. специфичные значения, не встречающиеся в большинстве языков мира, а в том, что она не учитывает некоторые особенности, которые характеризуют другие уровни словообразовательных систем и, по-видимому, относятся к фундаментальным принципам организации этих систем. Недостаточность классических методов и параметров связана, в свою очередь, с внутренней противоречивостью их применения.

Вторая проблема становится очевидной при анализе классификаций стандартных словообразовательных значений прилагательных. Продемонстрируем это на примере перечня классов производных прилагательных, приведенного в оксфордском компендиуме по деривационной морфологии (автор главы – А. Фабрегас [6]).

Общепринятая номенклатура словообразовательных значений отглагольных прилагательных отсутствует¹, однако в зоне отглагольного производства прилагательных, наряду с “адъективными причастиями”, очевидным образом выделяются такие частотные классы, как прилагательные предрасположенности (dispositional adjectives), обозначающие склонность к действию или подверженности процессу (*забывать* > *забывчивый*), прилагательные потенции (potential

adjectives), обозначающие способность вызывать события (португ. *solve* ‘растворяться, растворять’ > *solvente* ‘растворяющий’), прилагательные пассивной модальности (modal passive adjectives), обозначающие возможность или необходимость подвергнуться процессу (*читать* > *читательный*).

В набор деноминальных качественных прилагательных включаются качественно-посессивные прилагательные (qualitative possessive adjectives), характеризующие носителя по снабженности чем-либо (обладанию, ср. рус. *рогатый*, *женатый*), прилагательные активности (activity adjectives), обозначающие характерное поведение лица (швед. *skoj* ‘шутка’ > *skojig* ‘веселый’²), симилиативные прилагательные (similitive adjectives), обозначающие подобие (польск. *dziecko* ‘child’ > *dziecinny* ‘ребяческий’ в значении ‘подобно ребенку’), активные деноминальные прилагательные (active denominal adjectives), обозначающие способность производить или вызывать названное основой (баск. *hidratatze* ‘увлажнение’ > *hidratatzaile* ‘увлажняющий (крем)’), прилагательные характерного состояния (characteristic state adjectives), обозначающие склонность к нахождению в состоянии, названном основой (каталан. *por* ‘страх’ > *poruc* ‘пугливый’).

Как распространенный класс упоминается, далее, вид относительных и качественных прилагательных со значением общего (семантически неспецифицированного в самом форманте) отношения к признаку, обозначенному производящей основой, ср. *economy* ‘экономия, экономика’ > *economic* ‘экономический’ (*economic problem* ‘экономическая проблема’), *space* ‘пространство’ > *spacious* ‘просторный’, примеры из [6, с. 279]. Среди относительных прилагательных со специфическим значением А. Фабрегас называет относительные посессивные прилагательные (relational possessive adjectives), выражающие принадлежность (*отцов*), и демонимы (demonyms), т.е. прилагательные от топонимов, выражающие отношение к некоторой территории (происхождение). Кроме того, в номенклатуре производных прилагательных отдельно упоминаются прилагательные оценочные.

Набор упоминаемых классов представляется явно ограниченным, например, в нем нет достаточно распространенного класса прилагательных, обозначающих отношение к веществу, материалу (изготовленность из материала). Эта ограниченность, как нетрудно заключить, в первую очередь связана с тем, что в набор включаются

¹ Так, несколько отличаются обозначения классов производных прилагательных в [2] и [4].

² Здесь и далее примеры отглагольных классов по А. Фабрегасу.

те прилагательные, для которых “прирост значения” к производящей основе, возникающий именно за счет присоединения форманта, очевиден. Не совсем логичное появление демонимов (оттопонимических прилагательных) в этом списке представляет собой исключение, поскольку в семантику производных в этом случае вносит решающий вклад именно значение самой производящей основы (значение ‘территория, область’ логичным образом дает семантику прилагательного ‘признак, имеющий отношение к территории, области’ > ‘происходящий с территории’).

Трудность выделения словообразовательных классов на основе прозрачного принципа ‘*формант*’ ~ ‘*значение форманта*’, как можно видеть, создается композициональностью семантики производных слов (семантика базы плюс значение форманта ~ типа), неочевидностью связи их лексического значения со словообразовательным значением формантов (словообразовательных типов). Эта осознаваемая проблема отражена в параграфе “Что лежит в основе классификации?” (16.2.1. Where Does the Classification Come from? [6, с. 281]).

Однако в данном разборе упускается существенный аспект: организация системы может быть рассмотрена не только с точки зрения семантики итоговых классов и подклассов производных, но и с точки зрения семантических классов производящих основ, участвующих в словообразовании по тем или иным типам. В этом случае предметом рассмотрения может стать то, насколько ограничен семантически состав основ, “используемый” словообразовательными типами с определенным формантом. Такой подход применим как для словообразовательных типов, где формант привносит в итоговую семантику специфическое значение (ср. перечисленные выше классы прилагательных, приводимые в оксфордской “Деривационной морфологии”), так и для случаев, где итоговая семантика существенно связана со значением основы, а формант выполняет функцию семантически почти опустошенного “адъективизатора” (‘характеризующийся отношением к тому, что обозначено основой’, ср. случай прилагательных “материала”). Исследовательские вопросы при данном ракурсе рассмотрения формулируются таким образом:

1) Можно ли в языке образовать прилагательное с данным значением от основ определенного семантического класса; например, можно ли образовать прилагательные “материала”, или в языке существуют другие способы обозначения “вещественного состава” объекта (сложные слова,

генитивные сочетания, изафетные конструкции)? Этот вопрос представляет общий интерес для анализа и словообразования, и словоизменения языка.

2) Имеются ли форманты (словообразовательные типы), которые используются исключительно при основах определенного семантического класса, т.е. своего рода специализированные форманты со специфической селекцией основ? Подобная специализация может встречаться лишь на ограниченных участках системы. Так, в русском языке прилагательные “материала” не имеют специализированного суффикса, но суффикс *-яни-* встречается только в прилагательных этого класса, образованных от единичных основ (морфологически — основ среднего рода с окончанием *-о*, ср. *деревянный*, *стеклянный*) [7, с. 712].

3) Имеются ли случаи, когда наблюдается более определенная корреляция между специализированным формантом и семантическим классом основ (словопроизводство с помощью форманта селективно использует некий семантический класс основ, полностью или в значительной его части)?

Использование в словопроизводстве основ с определенными свойствами (пп. 2 и 3) в теории словообразования дефинируется как “системная продуктивность” словообразовательного типа [8, с. 216–217]; мы будем называть системную продуктивность, ограниченную семантическими параметрами, также “(семантической) селекцией основ”. Отметим, что системная продуктивность определяется независимо от эмпирической продуктивности типа (его активности, т.е. возможности производить по нему новые слова) и независимо от того, являются ли производящие основы свободными или связанными (не встречающимися в каких-либо словах в свободном виде, без других словообразовательных формантов).

Пример четкой корреляции между специализированным формантом и классом основ (п. 3) — прилагательные “материала” в немецком и тунгусо-маньчжурских языках. В немецком языке суффиксы *-(e)n*, *-(e)rn* образуют прилагательные вещественного признака от основ со значением материала, ср. *bronzen* ‘бронзовый’, *steinern* ‘каменный’ [9, с. 124, 143]. В большинстве тунгусо-маньчжурских языков для образования прилагательных материала используется специальный суффикс *-mV* (*-ма*, *-мэ*, *-мо*), ср. эвенк. *сэлэ* ‘железо’, *сэлэмэ* ‘железный’ [10, с. 220]; [11, с. 75]; [12, с. 86]; [13, с. 225]; [14, с. 248]; [15, с. 305].

Подобная селективная корреляция может быть историческим результатом маргинализации

словообразовательного типа. Так, немецкий суффикс *-(e)n* возводится к древневерхненемецкому суффиксу *-î(n)* словообразовательного типа с более общим значением “принадлежности” и относительной связи и, соответственно, с более широким выбором основ, ср. *lughîn* ‘лживый’, *menniscîn* ‘человеческий’ (примеры по [16, с. 203, 210]). Аналогичное сужение функций в диахронии теоретически не исключено и для тунгусо-маньчжурского *-mV* [10, с. 220].

По этой причине при анализе строения словообразовательных систем и выделении типологически релевантных признаков важно отличать частные случаи селекции основ (включая маргинализацию типов) от характеристик, свойственных целым участкам системы. Специализированное маркирование прилагательных материала, по-видимому, можно считать межъязыковой фреквенталией, поддерживаемой тенденцией к семантическому обособлению этого прагматически важного класса. Гораздо более интересны случаи, когда селекция основ оказывается более системной и когда она основана на семантических признаках, специфичных для языков определенной группы или языков определенного типа.

II

К таким случаям можно отнести тунгусо-маньчжурские производные прилагательные, обозначающие ‘цвет’, ‘внешние признаки предмета’ и признаки, воспринимаемые другими органами чувств. Само существование этих подгрупп производных и их состав рассматриваются в литературе, однако их укорененность в системе и типологическое своеобразие нуждаются в особом осмыслении.

У прилагательных цвета специализированные суффиксы выделяются в разных тунгусо-маньчжурских языках. В орокском ряд прилагательных цвета характеризуется суффиксом *-гда*, *-гдэ*, *-гдо*, ср. орок. *тагда* ‘белый’, *согда* ‘жёлтый’ [17, с. 61], в ороцком — *-гза(н)*, *-гзэ(н)*, *-гзо(н)*, ср. *сэгзэ(н)* ‘красный’ [18, с. 217], в нанайском — фонеморфологическими вариантами одного суффикса с историческим чередованием *-гдян/-гдюн/-гден/-гдён*, *-нгиан/-нгиэн*, ср. нан. *чагдян* ‘белый’, *нёнгиан* ‘голубой, синий, зелёный’ [10, с. 204]; в удэгейском — суффиксом *-лиги*, ср. удэг. *п’алиги* ‘черный’, *солиги* ‘белокурый, светлый’ [12, с. 86]; [19, с. 89], в эвенкийском — суффиксами *-ма*, *-рин*, ср. эвенк. *хулама*, *хуларин* ‘красный’, *конгномо*, *конгнорин*

‘черный’ [11, с. 76]; [20, с. 103, 112]³. Соответствующие базы представлены как свободными, так и связанными основами.

Специализация суффиксов на основах со значением цвета может быть в некоторых языках частичной. Структурно-морфемное примыкание к прилагательным цвета семантически близких нанайских *гэнгиэн* ‘прозрачный’, *гандян* ‘чистый’, по-видимому, не является отступлением от селективности основ, поскольку в данном случае в один класс попадают прилагательные, объединенные общим семантическим принципом ‘цвет’ ~ ‘лишенность специфического цвета’. Весьма показательно, что в орокском и эвенкийском языках в группу суффиксально маркированных прилагательных попадают прилагательные с таким же значением, ср. орок. *гэгдэ* ‘чистый, прозрачный’ [17, с. 61], эвенк. *багури* ‘ясный’ [20, с. 103]. В то же время в удэгейском языке на фоне десятка прилагательных цвета с *-лиги* [19, с. 89] выделяются производные уже с более широким значением внешнего признака, ср. прилагательные формы *монтолиги* ‘круглый’ от *монто* ‘шар’ [12, с. 86]; в эвенкийском прилагательные с *-рин* могут обозначать форму или свойства поверхностей, ср. *наптар*, *наптарин* ‘плоский’, *тунгури* ‘круглый’, *нилбирин* ‘скользящий’ [21, с. 19].

Особая ситуация наблюдается в орокском, где суффикс *-гда*, *-гдэ* фиксируется также в некоторых прилагательных, обозначающих иные физические признаки объектов, ср., напр., *хугдэ* ‘широкий’, *угдэ* ‘тихий’. Однако в этих прилагательных при образовании форм слова не выявляется суффикс *-н-*, как в прилагательных цвета на *-гда(н)*, *-гдэ(н)*, что дает возможность сделать вывод об омонимии формантов [17, с. 61]. Такая фонеморфологическая дифференциация семантических подгрупп позволяет говорить о внутрисистемной тенденции к структурно-морфемному обособлению прилагательных цвета.

Сами семантические “девиации” в большинстве случаев подчиняются очевидным закономерностям. Так, обращает на себя внимание семантическая связность центральных и периферийных прилагательных со смежными переходами ‘цвет’ > ‘свойства поверхностей’, ‘форма’

³ Дистрибуция прилагательных с суффиксами *-ма*, *-рин* в эвенкийском частично зависит от диалекта. Добавим, что в негидальском языке, по некоторым классификациям относимом в общую ветвь с эвенкийским, в ряде прилагательных цвета выделяется суффикс *-йи*, ср. *сиңайи* ‘желтый’, *чойи* ‘зелёный’ (данные словарей). Материал негидальского мы не включаем в связи с отсутствием достаточно подробного описания словообразования в негидальском языке.

(см. выше). Некоторые более существенные отклонения свидетельствуют об образовании отдельных словообразовательных подтипов. Так, в эвенкийском языке суффикс *-рин* является также формантом прилагательных, обозначающих свойства характера или физические свойства лица ('толстый', 'сутулый', 'энергичный') [21, с. 18]. В этом случае обособление семантического подтипа происходит за счет ономаσιологического принципа: разные по семантике основы коррелируют с разными по семантике производными а) 'свойства предметов' ~ 'цвет', 'форма и свойства поверхностей', б) 'свойства лица' ~ 'свойства характера и физические свойства лица'.

Заметим, что селективность основ не означает структурной гомогенности лексических групп прилагательных цвета: в эти группы могут входить непроемные слова и слова с другими формантами. Так, в удэгейском языке наряду с десятком прилагательных на *-лиги* фиксируются *н'огдзо* (~*ньогдзо*, *нэгдзо*) 'синий', *чагдза* 'белый' (при варианте *чалиги*), *иңьяаңа* 'седой' (при вариантах *иңня*, *иңялиги*), *хакамаси* 'коричневый' и др. [22]⁴. На этом основании целесообразность словообразовательно-семантического принципа в классификации тунгусских прилагательных иногда оспаривается. В частности, Л.В. Озолина отвергает классификацию Т.И. Петровой орокских прилагательных [17, с. 56–62], которая строится с учетом семантики и суффиксального оформления [14, с. 249–250]. Однако гетерогенность оформления слов лексической группы не отрицает возможности рассмотреть "селективность" словообразовательных типов с точки зрения всей системы. Селекция производящих основ определяется не столько при рассмотрении лексических групп производных (хотя она и проявляется на уровне лексических групп), сколько при анализе системной продуктивности (селекции основ) словообразовательных типов. Важными параметрами здесь являются не только значительное количество слов лексической группы, образованных по одному и тому же структурному (словообразовательному) типу, но и степень семантического отбора основ, характеризующего соответствующий тип.

Особые словообразовательные типы, по которым образованы прилагательные цвета, как мы видим, есть в тунгусо-маньчжурских языках разных подгрупп (кроме маньчжурского, составляющего южную подгруппу, см. далее). При этом степень семантической гомогенности производящих

⁴ Примеры гетерогенности групп в эвенкийском см. в [20, с. 110], в нанайском см. в [10, с. 205].

основ этих типов (и производных прилагательных⁵) может быть выражена в различной степени, однако при всех девиациях семантический принцип организации системной продуктивности остается прозрачным за счет когерентности основной группы 'цвет' ~ 'свойства поверхностей' ~ 'форма' ~ 'внешний признак'.

Помимо маньчжурского, заметное отклонение от такого строения подсистемы наблюдается в эвенском языке (северная подгруппа), в котором семантическая селекция основ у типов, образующих прилагательные цвета, по всей видимости, существенно размыва. На это указывает расширение значения основ (и производных прилагательных) за пределы семантической сферы 'цвет, форма, внешние признаки' предметов к значениям любого физического и абстрактного признака (не только лиц, но и любых объектов). Суффиксами *-ня/-не* (*-н'а/-н'э*) в эвенском оформлены не только многие прилагательные (от связанных основ, соотносимых с глаголами), обозначающие цвет и внешнюю форму, ср. эвен. *хуланя* 'красный', *каптаня* 'плоский' [23, с. 99–100], но и прилагательные, обозначающие другие свойства, ср. *чутаня* 'влажный', *хенграня* 'тихий', *кулуния* 'несмышленный' (о детях), *чурпуня* 'выдающийся (о горе)' [Там же]. Словообразовательный ряд прилагательных с суффиксом *-ты* (*тй*), *-та/-тэ* включает, наряду с прилагательными цвета (и, специально, группой названий масти животных), обозначения других физических признаков, а также свойств лица, ср. *хулаты* 'красный', *нянты* 'серый' (масть), *бербаты* 'плоский', *чунгаты* 'голосистый', *чакуты* 'аккуратный', примеры по [23, с. 100]. На реликтовом уровне об исконной релевантности признака 'цвет и внешняя форма' в системе, возможно, указывают некоторые единичные суффиксальные образования. Так, Й. Бенцинг отмечает ряд членимых прилагательных со связанными (глагольными) основами, которые он относит к категориям 'внешний вид' либо 'цвет' ~ 'внешние признаки', ср. *nəbu-li*

⁵ В случаях, когда и производящая основа, и производное прилагательное обозначают один и тот же признак (например, признак цвета), суффикс выполняет роль своего рода адъективизатора, несущего самое общее значение 'обладающий признаком, обозначенным производящей основой', поэтому можно говорить и о "семантической гомогенности основ", и о "семантической гомогенности производных". Терминологическое различие основ и производных в некоторых случаях может иметь значение для отглагольных производных, ср. эвен. *каптаня* 'плоский', которое примыкает к прилагательным 'формы', но образовано от связанной основы, ср. *капта-л-дай* 'сплющить', *капта-р-дай* 'сплющиться' [23, с. 101].

‘косматый’, *buntu-li* ‘круглый’, *gelta-lra* ‘светлый’ и т.д. [24, с. 41].

Тем не менее, можно констатировать, что в целом ряде тунгусо-маньчжурских языков разных подгрупп существует единообразный принцип селекции основ. Сформулируем его еще раз: в каждом языке есть особый суффикс, оформляющий прилагательные цвета, и использование словообразовательного типа с этим суффиксом связано с кругом основ и прилагательных со значением ‘цвет’ ~ ‘внешние признаки’ или даже ограничено этим кругом. Это позволяет возводить сам данный принцип организации словообразовательной подсистемы — в силу его присутствия в родственных языках — к пратунгусскому или, по крайней мере, к части пратунгусских диалектов. При этом межъязыковое различие самих суффиксов может быть объяснено более поздней сменой формантов в разных языках, которая происходила при сохранении основного системного принципа.

Если рассматривать корреляцию “специализированных” суффиксов с семантикой ‘цвета’ ~ ‘формы’ ~ ‘внешних признаков’ изолированно, то ее можно было бы трактовать как результат случайной маргинализации исконного словообразовательного типа в доисторический период (подобно тому, как произошло сужение семантики типа прилагательных материала в немецком языке, см. выше). Однако аналогичный принцип мы находим и на другом участке системы, в производных прилагательных ‘вкуса’, ‘запаха’, ‘осязательных признаков’ (с тенденцией расширительного обозначения иных признаков, воспринимаемых органами чувств).

В нанайском языке непродуктивный суффикс *-си* засвидетельствован в некоторых прилагательных, обозначающих признаки вкуса и запаха, ср., напр., нан. *гочи*, *гочиси* ‘горький’, *амтаси* ‘вкусный’ (при *амтан* ‘вкус’), *хонгорси* ‘пахнущий гнилью, вонючий’ (при *хонгори-* ‘издавать запах гнили, гноя’) [10, с. 205]. В орокском суффикс *-вли/-ули* образует ряд производных, в число которых входят прилагательные вкуса, запаха, а также прилагательные, обозначающие другие “признаки, воспринимаемые органами чувств” [14, с. 51], ср. орок. *маңгавли* ~ *маңгаули* ‘крепкий, твердый, жесткий’ от *маңга* ‘крепкий, твердый, жесткий; крепко, твердо, жестко’, *дурули* ‘кислый’ при *дуре* ‘кисло’ (фиксируются также слова, обозначающие признаки ‘веса’, ‘температуры’) [14, с. 53]; [17, с. 59]. В ульчском тот же суффикс *-вли/-ули* производит слова, обозначающие признаки, доступные для осязательного восприятия (в источниках приводятся слова со значением ‘веса’, ‘температуры’),

ср. ульч. *нунди* ‘холод, мороз’ > *нундули* ‘холодный’ [13, с. 226]; [17, с. 59]. Кроме того, в орокском языке специализированный суффикс *-(у)си* выделяется в прилагательных от наречий “перцептивной” семантики, ср. наряду с прилагательным на *-вли/-ули* орок. *дурули* ‘кислый’ также *дуруси* от *дуре* ‘кисло’; *пақамуси*, *пақуси* ‘мрачный, темный’ от *пақа*, *пақам* ‘темно, сумрачно’ [14, с. 59], ср. аналогичную модель в орокском: *хакти*, *хактиси* ‘темный’ [18, с. 213]. Принадлежность производных с суффиксом *-ли* (**-си*) к группе слов, видимо, наречного происхождения, обозначающих перцептивные признаки, предполагается для удэгейского [17, с. 59], ср. *гилиһи* ‘холодный’, *хактиһи* ‘темный’, *бугдуһи* ‘скользкий’ (с формальным неразличением атрибутивного и наречного признака, примеры из [19, с. 89]).

Семантические отклонения от центральной семантики могут быть обусловлены производством от определенного морфологического класса основ. Так, в ульчском языке среди немногочисленных прилагательных, образованных от наречий, фиксируется обозначение абстрактного свойства ульч. *анана* ‘завидно’ > *ананавли* ‘хороший, редкий (достойный зависти)’ [13, с. 226]. В орокском языке суффикс *-вли/-ули* является также формантом отглагольных производных, часть из которых примечательным образом присоединяется к прилагательным “восприятия” (вкуса, запаха, звукового восприятия), ср., напр., орок. *ноккули* ‘пахучий, вонючий’ от *нокки-* ‘пахнуть, вонять’, *сидарули* ‘кислый, имеющий кислотатый вкус’ от *сидари* ‘жечь, саднить’ (примеры из [14, с. 55]). Некоторые из других производных этого ряда могут обозначать признаки, воздействующие на психическое восприятие или психические свойства лица, ср. орок. *сэбзэниули* ‘веселый’ от *сэбзэн-* ‘веселиться, радоваться’ [Там же], однако прилагательные с комбинированным суффиксом *-не(и)-ули* уже не могут быть отнесены к определенной семантической группе⁶.

Как и прилагательные ‘цвета’, прилагательные всей данной группы могут быть мотивированы связанными основами.

Очевидно, что вместе с прилагательными ‘цвета’ ~ ‘формы’ ~ ‘внешних признаков’ прилагательные

⁶ Не совсем корректно безоговорочное отнесение к прилагательным признаков, воспринимаемых органами чувств, прилагательных на *-ули*, образованных от разных частей речи, а также производных с суффиксом *-не(и)ули* [17, с. 59]. Образование от разных частей речи, строго говоря, разносит соответствующие производные по разным словообразовательным типам; отглагольные же производные семантически гетерогенны.

‘вкуса’, ‘запах’, ‘осязательных признаков’ (и других признаков, “воспринимаемых органами чувств”) свидетельствуют уже не о частных перераспределениях и сужениях функций словообразовательных типов, но об определенной системности, а именно об ориентации части словообразовательной системы на взаимосвязанные, “перцептивные” признаки.

В типологическом плане эти признаки можно соотнести, далее, с “ядерной”, прототипической семантикой прилагательных, в которой значения ‘цвета’ и других физических признаков предмета занимают важное место [25, с. 3–4], причем прилагательные ‘цвета’ обычно бывают представлены в языках даже с малыми (минимальными) наборами прилагательных [Там же].

Следует указать и на некоторые типологические параллели в словообразовательном обособлении (маркировании особыми деривационными средствами) “ядерных” прилагательных. Так, в языке папантла тотонак (тотонакские языки, центральная Мексика) все “базовые” цвета обозначаются прилагательными либо с редупликацией конечного слога, либо с суффиксом $-(n)k/q\lambda\alpha(\cdot)$ (основы не встречаются в свободном виде или в других словах), ср. *snapapa* ‘белый’, *smukuku* ‘желтый’, *cu’cu’qu* ‘красный’ [26, с. 158–159]. Те же словообразовательные средства маркируют некоторые остаточные членимые прилагательные, обозначающие физические свойства предметов (‘толстый’, ‘холодный’, ‘круглый’, ‘мягкий’), и единичные обозначения человеческих свойств характера [26, с. 159]. При этом ряд прилагательных ядерной семантики (‘температуры’, ‘величины’, ‘вкуса’, ‘возраста’) являются нечленимыми словами (симплексами) [26, с. 158, 163]⁷.

С тунгусо-маньчжурской системой эту систему сближают, во-первых, специальные способы деривационного маркирования ядерных прилагательных определенного семантического класса (при некоторых девиациях: при присоединении отдельных прилагательных с другими значениями) и, во-вторых, маркирование этих прилагательных по типу “классификатора” (в этом случае обозначение “классификатор” применимо как достаточно прозрачная лингвистическая метафора). Как маркирование по типу “классификатора” можно дефинировать случаи, когда словообразовательное средство (суффикс, редупликация и др.) не только закреплено за основами определенных

семантических классов, но и выполняет функцию семантически опустошенного “адъективизатора”; проще говоря, когда в языке существуют особые семантически опустошенные “адъективизаторы” для некоторого семантического класса основ или даже разных семантических классов основ.

Маркирование по типу “классификатора” обнаруживается и в других тунгусо-маньчжурских словообразовательных типах. По-видимому, реликтовой группой этого вида можно считать некоторые параметрические прилагательные, которые примыкают к условной группе “ядерных” прилагательных “внешнего признака” и характеризуются специальными суффиксами. Ср. с непродуктивным суффиксом *-ми* орок. *хуруми* ‘короткий’, *мõми* ‘толстый, коренастый’, *дарами* ‘широкий’ [14, с. 52, 249], нан. *нэмй* ‘тонкий’, *хурми* ‘короткий’, *нгоами* ‘толстый’ (о предметах) [10, с. 206]. В нанайском мы имеем дело не только с непродуктивностью типа, но и со связанными основами, не засвидетельствованными в других словах [Там же]. По утверждению Т.И. Петровой, эта группа прилагательных встречается почти во всех тунгусо-маньчжурских языках [17, с. 60], однако данные по другим языкам, кроме орокского, не уточняются. Небольшой ряд “параметрических” прилагательных на *-ми* в орокском приводится в “Грамматике орокского языка”, причем, кроме прилагательных размера, этот ряд включает и прилагательное веса [19, с. 214].

Примечательно, что “классификаторный” принцип организации словообразовательной системы распространяется на некоторые виды оценочного словообразования. Так, в орокском языке суффикс *-нго*, *-нгу*, по-видимому, вычленяется в прилагательных, обозначающих отрицательные признаки, названные основой, а суффикс *-нга*, *-нгэ* — в прилагательных, обозначающих положительные признаки, ср. орок. *коңго* ‘глухой’, *мукчунгу* ‘глухой’, но *манга* ‘сильный’, *улиңга* ‘хороший’ [17, с. 61]; [14, с. 56]. При этом в прилагательных, мотивированных глаголами, различие суффиксов нейтрализуется, и производные на *-нга*, *-нго*, *-нгу* обозначают отрицательный признак, ср. орок. *балиңга* ‘слепой’ при *бали* ‘ослепнуть, потерять зрение’, *салиңга* ‘сердитый’ при *сали* ‘сердиться’ [14, с. 249].

Напротив, для эвенского языка есть основания предполагать существование оппозиции ‘положительный — отрицательный признак’ в прилагательных, мотивированных глаголами. Прилагательные с суффиксом *-вгни* предположительно обычно обозначают “положительные качества” по действию, а с суффиксом

⁷ Адъективная деривация в папантла тотонак представлена и некоторыми другими моделями для параметрических и качественно-посессивных прилагательных [26, с. 161–162, 167–168].

-нгия/-нгие – “отрицательные качества по аналогичному действию”, ср. эвен. *одявнги* ‘бережливый’ от *одядай* ‘беречь’, *менгчивнги* ‘интересный’ от *менгчидай* ‘удивляться’ [23, с. 104], *муннгия* ‘гнилой’ от *мундай* ‘гнить’, *утнгия* ‘скрученный’ от *уттай* ‘скручивать’ [23, с. 103]. По интерпретации В.И. Цинциус, “внешние отрицательные признаки по аналогичному действию” обозначают и эвенские прилагательные с суффиксом *-ку*, ср. *тэжуку* ‘рваный’ при *тэкэлдэй* ‘рвать’, *тэкэрдэй* ‘рваться’, *чолбэку* ‘продырявленный’, *чолбэлдэй* ‘продырявить’, *чолбэрдэй* ‘продырявиться’, *хултаку* ‘просыпанный’, *хулталдай* ‘просыпать’, *хултардай* ‘просыпаться’ (из дыры в мешке) [23, с. 102]. Однако достаточно многочисленные прилагательные этой группы можно трактовать и как производные, образованные преимущественно от “деструктивных” глаголов. В этом случае близкую семантическую параллель представляют наинские прилагательные с суффиксами *-ки*, *-кэ*, мотивированные в основном по действиям, “нарушающим целостность предмета”, ср. нан. *бояка* ‘рваный’ (*боя-* ‘рваться, ломаться’), *лоптоака* ‘рвать’ (*лоптоа-* ‘оторваться, отделиться’) и т.п. [10, с. 202].

Кроме описанных случаев, “специализированные” суффиксы в тунгусо-маньчжурских языках существуют для образования прилагательных ‘времени’ и ‘места’ (в некоторых языках эти суффиксы эмпирически непродуктивны, то есть по ним не производятся новые слова) [10, с. 221]; [18, с. 214]; [11, с. 76]; [12, с. 88]; [13, с. 226]; [23, с. 111–112]. Обособление словообразовательных типов в этом случае поддержано производством не только от существительных со значением ‘времени’ и ‘места’, но и от соответствующих наречий. Суффикс, оформляющий небольшое количество “имен качества” с пространственным значением, есть и в маньчжурском языке (маньчж. *-рги*) [27, с. 134].

Рассматривая типологию адъективной деривации на ареальном фоне, мы должны отметить, что наиболее своеобразные черты тунгусо-маньчжурского словообразования не находят очевидных параллелей в соседних родственных языках алтайской семьи. Наиболее своеобразными характеристиками оказывается именно организация системы словообразования в сфере “ядерной” адъективной семантики, в особенности семантики “перцептивной”. При этом сам “классификаторный” принцип имеет на других участках словообразования довольно близкие соответствия, в частности, в монгольских языках той же алтайской семьи. Так, в монгольских

языках есть суффикс прилагательных со значением места и времени, ср. калм. *-к*, монг. бур. *-хи* [28, с. 253], а суффиксы калм. *-ха/-хэ*, монг. *-хай* *-хой/-хий*, бур. *-хай/-хэй/-хий*, по имеющимся данным, “прицельно” образуют прилагательные, обозначающие отрицательные свойства и качества (от наречий, глаголов) [28, с. 254].

При рассмотрении дистрибуции специфических признаков внутри самих тунгусо-маньчжурских языков обращает на себя внимание отсутствие выраженной селекции основ по “перцептивному” семантическому параметру в эвенском языке (представитель северной эвенской подгруппы). Таким образом, языки с “перцептивной” классификацией оказываются географически ближе к предполагаемой южной локации прародины тунгусских языков (предположительно в области озера Ханка) [29]. Это может говорить как об исконной релевантности “перцептивного” признака в тунгусских языках, так и о влиянии неизвестного субстрата на строение словообразовательной системы языка пратунгусов. В пользу предположения о древности данного признака могут говорить современные генетические данные об отражении в специфических гаплогруппах тунгусов древнейшего генофонда автохтонного населения в бассейне реки Амур [30].

Особое положение занимает маньчжурский язык (южная группа), в котором почти полное отсутствие классификаторного принципа (ср. выше прилагательные местоположения как исключение) находится в корреляции с общей размытостью значений неочечных словообразовательных типов “имен качества/признака” (о термине и категории см. [31, с. 14–155]; [27]): имена качества, включая имена с наиболее количественно продуктивными суффиксами *-нга/-нга/-нго* и *-хун*, чаще всего образуют производные с общим значением отношения к предмету или действию (причем эти производные могут принадлежать к категории как качественных, так и относительных, а также количественных) [27, с. 11–135].

III

Два подхода к рассмотрению словообразовательных типов: с одной стороны, обычный формально-содержательный анализ по значению, “добавляемому” формантом к значению основы, и, с другой стороны, анализ по семантической селекции основ с особым вниманием к развертыванию в системе “классификаторного” принципа, — снимают внутренние противоречия традиционной классификации значений производных прилагательных и в своей совокупности

компенсируют ее типологическую “недостаточность”. Между значениями, добавляемыми формантами к значению основы и, с другой стороны, выраженным классификаторным принципом (семантически опустошенные форманты-адъективизаторы, присоединяемые к основам разных семантических классов) можно условно поместить многозначные форманты, иначе говоря: форманты словообразовательных типов с разными подзначениями (дифференциация этих подзначений может зависеть от семантики основ). Серединное положение на такой шкале займут и такие аффиксы с предельно общим значением ‘признака, связанного с производящей основой’, которые не имеют классификаторных свойств, поскольку могут присоединяться к основам самых разных семантических типов (ср., напр., рус *-н-*).

Организацию системы словообразования с точки зрения селекции основ у словообразовательных типов (иначе: системной продуктивности типов, основанной на семантических параметрах), по всей видимости, можно рассматривать как особый типологический параметр и самостоятельный предмет исследования. Примерное представление о том, как может проявляться данный параметр в языках, устроенных иначе, чем тунгусо-маньчжурские, можно получить уже при первичном сравнении тунгусо-маньчжурского словообразования со словообразованием индоевропейских языков. В индоевропейских языках селекция основ, если она наблюдается, обычно основывается на более абстрактных, нередко категориальных признаках. Так, например, в русском языке с развитой системой словообразования прилагательных семантическая селекция основ фиксируется только для нескольких словообразовательных типов и основана на достаточно отвлеченных признаках. Прилагательные с *-ий* образуются преимущественно от одушевленных существительных, с *-ин* — от одушевленных, в первую очередь от обозначений лиц (и животных), с *-иный* — от обозначений животных, редко растений и предметов [7]. Некоторые типы с качественно-посессивным значением “отбирают” неодушевленные основы или основы с конкретно-предметным значением: это типы с суффиксами *-чат(ый)*, *-ист(ый)*, *-аст(ый)* [7]. Более сложный характер имеет системная продуктивность деноминального типа с суффиксом *-ск(ий)*: прилагательные на *-ск(ий)* образуются от имен (включая топонимы), названий профессий и других совокупностей людей, локативов (*типографский*), обозначений книг (*библейский*) и многих других подгрупп [7, с. 624–630]. В этом наборе лишь отчасти прослеживается “аблативная”

(по Р. Бирду, см. [5]) функция принадлежности / происхождения (от лица, группы лиц, территории / места, литературного источника), с развитием значения ‘происходящий от, принадлежащий’ > ‘обладающий свойствами’.

Отдельный интерес при сравнении различных языков может представлять связь устройства словообразовательных систем с типом морфемики (флективный vs. агглютинативный язык).

При этом, по всей видимости, следует отличать некоторые общие (универсальные) тенденции, которые фиксируются на частных (маргинальных) участках системы в различных языках. Так, помимо типов прилагательных “материала”, тенденцию к обособлению способны демонстрировать словообразовательные типы, имеющие в качестве основ числительные, ср. рус. *-як(ий)* (*двойкий*, *тройкий*) со словообразовательным значением ‘имеющий столько-то сторон’ [7, с. 711–712], нанайские “относительно-количественные” прилагательные на *-рсо*, *-рсу*, ср. нан. *иларсу* ‘трехслойный’ [10, с. 222] и аналогичные орокские прилагательные с суффиксом *-су*, ср. орок. *иласу* ‘трехрядный’ [14, с. 253]. Однако подобные частные особенности не позволяют говорить об особом строении всей словообразовательной системы языка.

В словообразовании прилагательных тунгусо-маньчжурских языков, напротив, сосуществуют две функционально важные области, организованных по разным принципам. С одной стороны, заметную роль в нем играет проанализированный нами классификаторный принцип. С другой стороны, множество производных прилагательных образуется по обычным типам с распространенными во многих языках словообразовательными значениями, хорошо описанными в традиционных обзорах (см. перечень в начале данной статьи). Так, в тунгусо-маньчжурских языках фиксируются производные относительные прилагательные принадлежности, качественные прилагательные подобия, обладания (качественно-посессивные), отглагольные прилагательные с результирующим значением, со значением склонности к действию (*dispositional adjectives*), со значением признака по способности провоцировать действие и нек. др. Следует констатировать, что, в отличие от подсистемы с классификаторным принципом, эта область обнаруживает много ясных семантических параллелей в соседних языках алтайской семьи (ср., напр., словообразование прилагательных в бурятском и других монгольских языках [32, с. 98–125]; [33, с. 71–101]; [28, с. 240–245, 252–255]).

Сформулируем заключительные выводы.

Словообразование прилагательных в тунгусо-маньчжурских языках отличается некоторыми особенностями, которые побуждают уточнить критерии семантического анализа и межъязыкового сравнения (типологического описания) адъективной деривации в языках мира. Наряду с традиционной формально-содержательной “сеткой” (‘формант ~ значение форманта’) целесообразно рассматривать в качестве отдельного параметра семантическую селекцию производящих основ (корреляцию ‘формант / словообразовательный тип ~ семантический класс производящих основ’). Селекция основ может приводить к появлению в языке адъективных формантов, “специализирующихся” на производящих основах конкретного семантического класса, например, особых суффиксов прилагательных ‘материала’ или ‘цвета’, как в тунгусо-маньчжурских языках. Поскольку значение ‘материала’ или ‘цвета’ в этом случае присуще уже самой производящей основе, суффиксы в этом случае можно рассматривать как семантически нейтральные “адъективизаторы” (с наиболее общим значением ‘признака, имеющего отношение к тому, что обозначено основой’). При наличии в системе заметного количества адъективизаторов, специализирующихся на основах определенной семантики, можно говорить о существовании своего рода “классификаторного” принципа в адъективной деривации.

То, на каких именно семантических признаках базируется селекция основ, представляет предмет отдельного типологического интереса. В тунгусо-маньчжурских языках прослеживается своеобразная специализация суффиксов на основах с “перцептивными” признаками (‘цвет’, ‘вкус’, ‘запах’ и т.п.), а также на основах с другими видами “ядерной” адъективной семантики. Эта особенность имеет некоторые типологические параллели, но не обнаруживает явных аналогов в соседних языках алтайской семьи и требует ареального-исторического исследования.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

баск. — баскский
 бур. — бурятский
 калм. — калмыцкий
 каталан. — каталанский
 маньчж. — маньчжурский
 монг. — монгольский
 нан. — нанайский

орок. — орокский
 орооч. — ороочский
 польск. — польский
 португ. — португальский
 рус. — русский
 удэг. — удэгейский
 ульч. — ульчский
 швед. — шведский
 эвен. — эвенский
 эвенк. — эвенкийский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gaeta L. Word formation and Typology: Which Language Universals? // Mediterranean Morphology Meetings, Proceedings of the Mediterranean Morphology Meetings. 2003. Vol. 4. P. 157–169.
2. Štekauer P., Lieber R. (eds.) The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press, 2014.
3. Štekauer P., Lieber R. (eds.) Handbook of Word-formation. Dordrecht: Springer, 2005.
4. Müller P.O., Ohnheiser I., Olsen S., Rainer F. (eds.) Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2015.
5. Beard R., Volpe M. Lexeme-Morpheme Base Morphology // Štekauer P., Lieber R. (eds.). Handbook of Word-formation. Dordrecht: Springer, 2005. P. 189–203.
6. Fábregas A. Adjectival and Adverbial Derivation // The Oxford Handbook of Derivational Morphology Edited by Rochelle Lieber and Pavol Štekauer Print Publication Date: Sep 2014. Online Publication Date: Mar 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199641642.013.0016
7. Лопатин В.В., Улханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. М.: Издательский центр “Азбуковник”, 2016.
8. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М.: Флинта, 2012.
9. Степанова М.Д. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. Под руководством М.Д. Степановой. Авторы: А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов, А.И. Руфьева, М.Д. Степанова. М.: Русский язык, 1979.
10. Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка. Том 1. Фонетическое введение и морфология именных частей речи. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1959.
11. Василевич Г.М. Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка. Л.: Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, 1940.

12. Гурфанова А.Х. Категория прилагательного в удэгейском языке // Вестник СПбГУ. Серия 9. 2010. № 4. С. 83–92.
13. Горбунова В.А. Аффиксальное словообразование прилагательных в ульчском языке в сопоставлении с нанайским и орокским // Сибирский филологический журнал. 2021. № 2. С. 222–234.
14. Озолиня Л.В. Грамматика орокского языка. Новосибирск: ГЕО, 2013.
15. Nedjalkov I.V. Evenki. London; New York: Routledge, 1997.
16. Schützeichel R. Althochdeutsches Wörterbuch. Tübingen: Max Niemeyer, 1995.
17. Петрова Т.И. Язык ороков (ульта). Л.: Наука, 1967.
18. Аврорин В.А., Болдырев Б.В. Грамматика ороцкого языка. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.
19. Кормушин И.В. Удыхейский (удыгейский) язык: Материалы по этнографии: Очерки фонетики и грамматики. Тексты и переводы. Словарь. М.: Наука, 1998.
20. Константинова О.А. Эвенкийский язык. Фонетика. Морфология. М., Л.: Наука, 1964.
21. Bulatova N., Grenoble L. Evenki. München, Newcastle: LINCOM Europa, 1999.
22. Сагайдачная А.О. Концепт цвета в удэгейском языке // Томский журнал лингвистики и антропологии. 2018. № 1 (19). С. 69–75.
23. Цинциус В.И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Фонетика и морфология. Л.: Издательство Министерства просвещения, 1947.
24. Benzing J. Lamutische Grammatik. Mit Bibliographie, Sprachproben und Glossar. Wiesbaden: Steiner, 1955.
25. Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. (eds.) Adjective Classes. A Cross-Linguistic Typology. Oxford: University Press, 2004.
26. Levy P. Adjectives in Papantla Totonac // Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. (eds.) Adjective Classes. A Cross-Linguistic Typology. Oxford: University Press, 2004. P. 147–176.
27. Аврорин В.А. Грамматика маньчжурского письменного языка. СПб.: Наука, 2000.
28. Трофимова С.М. Именные части речи в монгольских языках. Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2001.
29. Wang Ch.-Ch., Robbeets M. The homeland of Proto-Tungusic inferred from contemporary words and ancient genomes // Evolutionary Human Sciences. 2020. № 2, E 8. doi:10.1017/ehs.2020.8
30. Siska M., Jones E.R., Jeon S., Bhak Y.J., Kim H.-M., Cho Y.S., Kim H., Lee K., Veselovskaya E., Balueva T., Gallego-Llorente M., Hofreiter M., Bradley D.G., Eriksson A., Pinhasi R., Bhak J., Manica A. Genome-wide data from two early Neolithic East Asian individuals dating to 7700 years ago // Science Advances. 2017. № 3 (2). doi: 10.1126/sciadv.1601877
31. Gorelova L.M. (ed.) Manchu grammar. Boston; Köln: Brill, 2002.
32. Санжеев Г.Д. (ред.) Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. Под ред. Г.Д. Санжеева. М.: Издательство Восточной литературы, 1962.
33. Дондуков У.-Ж.Ш. Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1964.

REFERENCES

- Gaeta, L. Word formation and Typology: Which Language Universals? Mediterranean Morphology Meetings, Proceedings of the Mediterranean Morphology Meetings. 2003, Vol. 4, pp. 157–169.
- Štekauer, P., Lieber, R. (eds.) The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford, Oxford University Press, 2014.
- Štekauer, P., Lieber, R. (eds.) Handbook of Word-formation. Dordrecht, Springer, 2005.
- Müller, P.O., Ohnheiser, I., Olsen, S., Rainer, F. (eds.) Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin, Boston, Walter de Gruyter, 2015.
- Beard, R., Volpe, M. Lexeme-Morpheme Base Morphology. Štekauer, P., Lieber, R. (eds.) Handbook of Word-formation. Dordrecht, Springer, 2005, pp. 189–203.
- Fábregas, A. Adjectival and Adverbial Derivation. The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Ed. by R. Lieber and P. Štekauer. Print Publication Date: Sep 2014. Online Publication Date: March 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199641642.013.0016
- Lopatin, V.V., Uluchanov, I.S. Slovar slovoobrazovatelnykh affiksov sovremennogo russkogo jazyka [The Dictionary of Derivational Affixes of the Contemporary Russian Language]. Moscow, Publishing Center “Azbukovnik”, 2016. (In Russ.)
- Zemskaya, E.A. Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanije [Contemporary Russian Language. Word-Formation]. Moscow, Flinta Publ., 2012. (In Russ.)
- Stepanova, M.D. Slovar slovoobrazovatelnykh elementov sovremennogo nemeckogo jazyka [The Dictionary of Derivational Elements of the Contemporary German Language]. Ed. by Stepanova, M.D. Authors: A.N. Zuev, I.D. Molchanova, R.Z. Murjasov, A.I. Ruffeva, M.D. Stepanova. Moscow, Russkij jazyk Publ., 1979. (In Russ.)
- Avrorin, V.A. Grammatika nanajskogo jazyka. Foneticheskoje vvedenije I morfologija imennykh chastej rechi [Grammar of the Nanai Language. Introduction to Phonetics and Morphology of Nominal Parts of

- Speech]. Vol. 1. Moscow, Leningrad, Publishing house of the Academy of Sciences of USSR, 1959. (In Russ.)
11. Vasilevich, G.M. *Oчерк grammatiki evenkijskogo (tungusskogo) jazyk* [A Sketch Grammar of Evenki (Tungus) Language]. Leningrad, Uchpedgiz Narkomprosa RSFSR Publ., 1940. (In Russ.)
 12. Girfanova, A.Kh. *Kategorija prilagatel'nogo v udegejskom jazyke* [The Category 'adjective' in the Udege Language]. *Vestnik SPbGU* [Bulletin of St. Petersburg State University]. Ser. 9, 2010, No. 4, pp. 83–92. (In Russ.)
 13. Gorbunova, V.A. *Affiksialnoje slovoobrazovanie prilagatelnykh v ulchskom jazyke v sopostavlenii s nanaiskim i orokskim* [Adjective Derivation Through Affixation in the Ulch Language in Comparison with Nanai and Oroch Languages]. *Sibirskij filologičeskij žurnal* [Siberian Philological Journal]. 2021, No. 2, pp. 222–234. (In Russ.)
 14. Ozoliņa, L. *Grammatika orokskogo jazyka* [A Grammar of the Oroch Language]. Novosibirsk, GEO Publ., 2013. (In Russ.)
 15. Nedjalkov, I.V. *Evenki*. London; New York: Routledge, 1997.
 16. Schützeichel, R. *Althochdeutsches Wörterbuch*. Tübingen, Max Niemeyer, 1995.
 17. Petrova, T.I. *Jazyk orokov (ulta)* [The language of Oroks (Ulta)]. Leningrad, Nauka Publ., 1967. (In Russ.)
 18. Avrorin, V.A., Boldyrev, B.V. *Grammatika orochskogo jazyka* [A Grammar of the Oroch Language]. Novosibirsk, Publishing house of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 2001. (In Russ.)
 19. Kormushin, I.V. *Udehejskij (udygeiskij) jazyk: Materialy po etnografii: Oчерki fonetiki i grammatiki. Teksty i perevody. Slovar* [Udege Language. Materials on Ethnography. Essays on Phonetics and Grammar. Texts and Translations. Dictionary]. Moscow, Nauka Publ., 1998. (In Russ.)
 20. Konstantinova, O.A. *Evenkijskij jazyk. Phonetics. Morphology* [The Evenki Language. Phonetics. Morphology]. Moscow, Leningrad, Nauka Publ., 1964. (In Russ.)
 21. Bulatova, N., Grenoble, L. *Evenki*. München, Newcastle, LINCOM Europa, 1999.
 22. Sagajdachnaya, A.O. *Kontsept tsveta v udygejskom jazyke* [The Concept of Color in the Udege Language]. *Tomskij žurnal lingvistiki i antropologii* [Tomsk Journal on Linguistics and Anthropology]. 2018, No. 1 (19), pp. 69–75. (In Russ.)
 23. Tsintsius, V.I. *Oчерк i grammatiki evenskogo (lamutskogo) jazyka. Fonetika i morfologija* [A Sketch Grammar of the Even (Lamut) Language. Phonetics and Morphology]. Leningrad, Publishing House of the Ministry of Education, 1947. (In Russ.)
 24. Benzing, J. *Lamutische Grammatik. Mit Bibliographie, Sprachproben und Glossar*. Wiesbaden, Steiner, 1955. (In German)
 25. Dixon, R.M.W., Aikhenvald, A.Y. (eds.) *Adjective Classes. A Cross-Linguistic Typology*. Oxford, University Press, 2004.
 26. Levy, P. *Adjectives in Papantla Totonac*. Dixon, R.M.W., Aikhenvald, A.Y. (eds.) *Adjective Classes. A Cross-Linguistic Typology*. Oxford, University Press, 2004, pp. 147–176.
 27. Avrorin, V.A. *Grammatika manchurskogo pismennogo jazyka* [A Grammar of the Manchu Written Language]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2000. (In Russ.)
 28. Trofimova, S.M. *Imenyje chasti rechi v mongolskikh jazykakh* [Nominal Parts of Speech in Mongolian Languages]. Ulan-Ude, Publishing house of the Buryat State University, 2001. (In Russ.)
 29. Wang, Ch.-Ch., Robbeets, M. The homeland of Proto-Tungusic inferred from contemporary words and ancient genome. *Evolutionary Human Sciences*. 2020. № 2, E 8. doi:10.1017/ehs.2020.8
 30. Siska, M., Jones, E.R., Jeon, S., Bhak, Y.J., Kim H.-M., Cho, Y.S., Kim, H., Lee, K., Veselovskaya, E., Balueva, T., Gallego-Llorente, M., Hofreiter, M., Bradley, D.G., Eriksson, A., Pinhasi, R., Bhak, J., Manica, A. Genome-wide data from two early Neolithic East Asian individuals dating to 7700 years ago. *Science Advances*. 2017, No. 3 (2). doi: 10.1126/sciadv.1601877
 31. Gorelova, L.M. (ed.) *Manchu grammar*. Boston; Köln, Brill, 2002.
 32. Sanzheev, G.D. (ed.) *Grammatika burjatskogo jazyka. Fonetika i morfologija* [A Grammar of the Buryat Language. Phonetics and Morphology]. Moscow, Publishing house of Eastern literature, 1962. (In Russ.)
 33. Dondukov, U.-Zh.Sh. *Affiksialnoje slovoobrasovanie chastej rechi v burjatskom jazyke* [Derivation of Parts of Speech Through Affixation in the Buryat Language]. Ulan-Ude, Buryat publishing house, 1964. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 7 ноября 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 1 декабря 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on November 7, 2022

Revised on December 1, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“...Исповедоваться друг другу на письме...”: семейная переписка в понимании молодого И. В. Киреевского

© 2023 г. М. Д. Кузьмина

Кандидат филологических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна,
Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18,
доцент Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена,
Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48
mdkuzmina@mail.ru

Резюме. Статья посвящена изучению семейной переписки И.В. Киреевского 1830 г., периода его пребывания в Германии. Как показало исследование, в это время он, в противовес господствующей в эпистолярном общении эпохи установки на “буффонаду”, утверждает приоритет исповедального письма. С одной стороны, это было обусловлено эпистолярными традициями его семьи (утвердившимися, в частности, в переписке А.П. Елагиной с В.А. Жуковским), с другой — очень доверительными отношениями в его семье; наконец, в-третьих, его личными представлениями о переписке и потребностями души. При этом Киреевский не возвращался к традициям сентиментальной исповедальной переписки второй половины XVIII — начала XIX в. Он переосмыслил эти традиции в контексте актуальных романтических тенденций 1830-х годов. Под его пером письмо обрело предельную доверительность, при внешней сдержанности. Утверждаемое молодым эпистолографом родство душ членов семьи и, следовательно, предельное сближение вплоть до тождества адресанта и адресата влекло за собой предельное редуцирование вербальных эпистолярных излияний (излишних и беспомощных выразить сокровенные, ведомые участникам переписки смыслы), слияние жанровых черт письма и дневника; наконец, переосмысление жанра путевого письма.

Благодарность. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-68-46021, “Славянофильство в религиозно-философском диалоге: 1836–1917”.

Ключевые слова: И.В. Киреевский, письма из Германии 1830 г., семейная переписка, исповедальное письмо, эпистолярный, романтическое письмо, Киреевские-Елагины, А.П. Елагина, В.А. Жуковский.

Для цитирования: Кузьмина М.Д. “...Исповедоваться друг другу на письме...”: семейная переписка в понимании молодого И.В. Киреевского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 37–50. DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“...To Confess with Each Other in a Letter...”: Family Correspondence in the Understanding of Young I. V. Kireevsky

© 2023 Marina D. Kuzmina

Cand. Sci. (Philol.),
Associate professor at the St. Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design,

18 Bolshaya Morskaya Str., St. Petersburg, 191186, Russia,
Associate professor at the A.I. Herzen
Russian State Pedagogical University,
48 Moika River Embankment, St. Petersburg, 191186, Russia
mdkuzmina@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the family correspondence of I.V. Kireevsky in 1830, the period of his stay in Germany. As the study showed, at that time he, in contrast to the attitude towards “buffoonery” prevailing in epistolary communication, affirmed the priority of a confessional letter. On the one hand, this was due to the epistolary traditions of his family (established, in particular, in the correspondence of A.P. Elagina with V.A. Zhukovsky), on the other hand, very trusting relationships in his family; finally, thirdly, his personal ideas about correspondence and the needs of the soul. At the same time, Kireevsky did not return to the traditions of sentimental confessional correspondence of the second half of the 18th – early 19th centuries. He rethought these traditions in the context of the current romantic trends of the 1830s. Under his pen, the letter acquired the utmost confidence, with outward restraint. The kinship of the souls of the family members affirmed by the young epistolographer and, consequently, the ultimate convergence, up to the identity of the addresser and the addressee, entailed the ultimate reduction of verbal epistolary outpourings (excessive and helpless to express the innermost meanings known to the participants in the correspondence), the merging of the genre features of the letter and diary; finally, a rethinking of the genre of travel writing.

Acknowledgements. The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation, project No. 20-68-46021, “Slavophilism in religious and philosophical dialogue: 1836–1917”.

Key words: I.V. Kireevsky, letters from Germany in 1830, family correspondence, confessional letter, epistolary, romantic letter, Kireevsky-Elagins, A.P. Elagina, V.A. Zhukovsky.

For citation: Kuzmina, M.D. “...*Ispovedovatsya drug drugu na pisme...*”: *semejnyaya perepiska v ponimanii mladogo I.V. Kireevskogo* [“...To Confess with Each Other in a Letter...”: Family Correspondence in the Understanding of Young I. V. Kireevsky]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 37–50. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“Но скажи, пожалуйста, что за мысль исповедоваться друг другу на письме, тогда как мы два дня назад могли говорить друг другу то же полнее и свободнее? Как ни коротко знаком с человеком, но все легче сказать ему правду в глаза, нежели писать ее заочно” [1, с. 262], – отвечал И.В. Киреевский М.П. Погодину, категорически отвергая его предложение вести доверительную переписку. Вместе с тем, в письме, написанном приблизительно в то же самое время, он побуждал младшую сестру, М.В. Киреевскую, – именно “исповедоваться” [1, с. 260] друг перед другом в письмах. Итак, в семейной переписке, и только в ней, молодой эпистограф считал уместным раскрывать душу.

Даже в дружеском эпистолярном общении, даже в письмах к ближайшему другу, А.И. Кошелеву, у Киреевского имела место исповедальность скорее в проекте, чем в наличии. “...дари меня, хоть изредка письмами, которые бы сообщали мне известия о состоянии твоём, как нравственном, так и телесном” [2, с. 113], – просил его Кошелев. “Благодарю тебя за твои расспросы обо мне и охотно буду отвечать на них обстоятельно, – обещал Киреевский, – ибо нет тяжелее состояния,

как быть неузнанным теми, кого мы любим” [1, с. 201]. Позднее он действительно признавался другу: “...хорошо и *мягко* (здесь и далее курсив авторов цитируемых сочинений. – М.К.) в эту минуту! Какая-то музыка в душе, беспричинная *Эолова* музыка <...> беспричинное чувство в душе моей <...> сердечная музыка...” [1, с. 360]. Подобные доверительные признания в дружеской переписке Киреевского единичны, и дальше них он не пошел. По этим признаниям видно, что он находил исповедальное общение уместным в дружеской переписке, однако сам к нему не был готов.

Любопытны сами эти мысли Киреевского об исповедальной переписке в то время, когда она, казалось бы, ушла в прошлое, уступив к 1830-м годам место “буффонаде”, отличавшей в первую очередь дружеский эпистолярный диалог А.С. Пушкина и арзамасцев. Как показало исследование Л.Я. Гинзбург, под их пером стало наблюдаться “парадоксальное соотношение: в дружеском письме, казалось бы, самом интимном роде словесности <...>, интимность оказывается запрещенной” [3, с. 187]. Так, Пушкин тщательно “маскирует личный сердечный опыт”, “шутит над поэтическим делом своим и своих друзей”

[Там же], травестирует даже тему смерти, причем в то время, когда она была болезненно остра, — в начале 1830-х годов, в эпидемию холеры. Важнейшей стилистической категорией писем Пушкина, как и других арзамасцев, Л.Я. Гинзбург справедливо считала “эффемизмы высокого” [4]. Эту ярко выраженную в письмах тенденцию к “грубой простоте”, принципиальный отказ от манерности Ю.Н. Тынянов в свое время рассматривал как чрезвычайно перспективную для эпистолярного жанра и резонно видел в ней проявление особой — неисповедальной — “интимности”: “Это не была безразличная простота документа, извещения, расписки — это была вновь найденная литературная простота. В жанре по-прежнему подчеркивалась его внелитературность, интимность; но она подчеркивалась нарочитой грубостью, интимным сквернословием, грубой эротикой. Вместе с тем писатели осознают этот жанр глубоко литературным” [5, с. 266]. Молодой Киреевский тоже отдал дань “буффонаде” в дружеском эпистолярном общении; впрочем, как правило, вводил ее дозированно, сочетая с дозированными же доверительными признаниями.

Еще дальше он пошел в семейной переписке, противопоставив неисповедальным интенциям современного ему эпистолярного общения — установку на доверительность. Эту установку было легче реализовать в закрытой и априори доверительной же семейной сфере. В случае Киреевского она рождалась сама собой, была единственно уместной и органичной — исходя, во-первых, из глубоко доверительных отношений внутри семьи Киреевских-Елагиных и, во-вторых, из сложившихся в ней предпочтений к традициям исповедальной переписки начала XIX в. В таком духе на протяжении почти полувека (1813–1852) А.П. Елагина переписывалась со своим родственником и другом В.А. Жуковским. По наблюдению прот. Д. Долгушина, их переписка “...ориентировалась на сентименталистское литературное произведение <...>. В эту традицию А.П. Елагина вводила и своих детей...” [6, с. 20]. Наибольшее влияние матери испытывал в этом отношении старший сын — Иван. Впрочем, он воспринял ее установку на исповедальную переписку творчески, по-своему. Сентиментальные традиции начала XIX в. под его пером существенно преобразились. Он предложил свой вариант исповедального письма, соответствующий, во-первых, его личным предпочтениям, во-вторых, потребностям его семьи и, в-третьих, литературному характеру его эпохи.

Уехав в Германию в 1830 г. и, как сначала планировалось, надолго, на несколько лет, Иван Киреевский боится потерять тесную душевную связь с любимой семьей. Он настойчиво побуждает родных общаться с ним в доверительном ключе, от письма к письму умоляя: “Пожалуйста, отвечайте мне на каждый пункт моих писем как можно аккуратнее. Пишите чаще и накрест строки” [1, с. 260], “...прошу вас всем сердцем: пишите ко мне чаще и больше” [1, с. 271], “Вели Машке (сестре. — М.К.) писать ко мне как можно больше и всякий день просить вас, чтобы вы писали <...> чаще и длиннее, чтобы письма ваши были так же длинны, как расстояние между нами” [1, с. 303] и т.п. Сестре, М.В. Киреевской, он в самом начале переписки предложил “исповедоваться” друг перед другом в письмах. От нее он особенно требовал таких писем, ей подробно излагал свой взгляд на эпистолярный диалог — в своеобразных письмах-“проповедях”, адресованных лично ей, либо в строках общего письма к родным, где он просил передать ей свои наставления. Очевидно, Киреевский чувствовал себя вправе учить младшую сестру, но не дерзал на это в отношении матери и отчима, А.А. Елагина. Да они не очень и нуждались в его наставлениях — он сам учился у них. Кроме того, с сестрой Марией, а также с братом Петром, родившимися, как и он, от первого брака матери и выросшими вместе с ним (в отличие от совсем еще маленьких сводных братьев и сестер Елагиных, от второго брака), его связывали особенно близкие отношения, которые ему хотелось сделать еще более близкими через переписку. Он учитывал, очевидно, и присущую сестре женскую чуткость, чувствительность, склонность к общению по душам, и ее больший, чем, скажем, у матери, обремененной домашними заботами, досуг. В идеале Иван, конечно же, мечтал вести эпистолярный диалог со всей семьей по принципам, сообщенным Марии. Прося родных передать ей некоторые из своих пожеланий, он транслировал эти пожелания всей семье.

Киреевский просил сестру, во-первых, писать ему максимально часто (“...ты должна писать *всякий день* хотя по две строчки <...>. Неужели написать *две строчки* тебе будет трудно” [1, с. 260]), что она, впрочем, сама ему обещала при прощании. Во-вторых, он просил сестру отвечать на его письма (“Так как я просил Маминьку читать тебе *все* мои письма, то не придет ли в голову ответить что-нибудь на них” [1, с. 261]). В-третьих, сообщать обо всем, чем она живет: о внешней, повседневной жизни, неотделимой от жизни всей семьи и потому вдвойне дорогой для Ивана (“...веди журнал тому, что у вас делается” [1, с. 255],

“Об здоровье всех <...>. Что ты читаешь <...>. Кто у вас бывает чаще других <...>. Что ты пишешь, что переводишь <...>? Что работаешь? <...> Чем кто занимается?” [1, с. 260–261]), и о своей сокровенной жизни, особенно важной для него. Неудивительно, что именно по отношению к ней он употребил слово “исповедоваться”. Именно знакомясь с ней, — надеялся предельно сблизиться с сестрой. Иван осторожно подводит Марию к исповедальной переписке, побуждая ее переключатся с внешнего хода жизни — на внутренний (ср.: “Что ты читаешь, что читала и какие главные мысли оставили в тебе прочтенные книги” [1, с. 260], “Кто у вас бывает чаще других, кто интереснее других, с кем ты короче других...” [1, с. 260–261]). И, наконец, подробно останавливается на внутреннем. В последних пунктах его письма-“проповеди” означено: “7-е. Читай всякий день одну главу из Евангелия и всякое письмо ко мне начни каким-нибудь текстом по-славянски. Когда возвращусь, скажу, для чего мне этого хочется. <...>. 8-е. Старайся в свои письма вмещать как можно больше общих мыслей; не заботься о том, стары они или новы; они потому уже не будут общими местами, что покажут мне *твой* образ мыслей и, следовательно, будут для меня интереснее Шеллинговых. Я стану с тобой спорить, и так мы к нашему свиданию мало-помалу узнаем друг друга лучше, чем при расставании. 9-е. Если, кроме тех пунктов, придется сказать что-нибудь интересное, то не ленись: каждая лишняя буква от тебя будет мне лишнею радостью” [1, с. 261]. Он тут же уточняет, что речь идет только о своей “лишней букве”, о своих “общих мыслях”, — которые захотелось высказать, потому что так думается и чувствуется. Следовательно, они, в его понимании, псевдообщие и псевдолишние. Киреевский учит сестру отличать их от подлинно лишних, каковыми, в его представлении, являются, например, этикетные формулы, предписанные эпистолярной традицией. Их он категорически отвергает, предупреждая Марию: “Замечаешь ли ты, что я не говорю тебе: люби меня, помни, — надеюсь, что и ты не станешь наполнять своего письма лишними фразами” [1, с. 261].

Изложенные Киреевским сестре принципы эпистолографии были совершенно очевидно нацелены на исповедальность писем. Это те принципы, которых придерживались в семье. Именно их шестнадцатью годами ранее зафиксировал для себя и Марии Протасовой (Мойер) Жуковский в дневнике под рубрикой “План”: “*М<аше>*. Читать. <...>. Выписывать самые лучшие места. Журнал соб<ственный>. Места из Свящ<енного>

Писания. Собственные мысли и замечания на других. Мне: <...>. Св. Писание — моя исповедь. <...>. Журнал соб<ственный>. Жить как пишешь” [7, с. 63].

Иван Киреевский имеет в виду те же цели, что и Жуковский. Об этом свидетельствуют его адресованные разным членам семьи письма, в которых он не устает пояснять “проповеданные” Марии принципы эпистолярного общения — и в части содержания, и в части формы. Он сообщает Петру: “Я просил сестру во всяком письме ко мне выписать какой-нибудь текст из Евангелия. Я это сделал для того, чтобы 1-е — дать ей лишний случай познакомиться короче с Евангелием; 2-е — чтобы письма наши не вертелись около вещей посторонних, а сколько можно выливались из сердца” [1, с. 290] — и реагирует на выписанный Марией — по-французски — фрагмент: “Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы” [Там же], — восприняв его как исповедь ее сердца: “Бедная! в 17 лет для нее будущее — забота и беспокойство” [Там же]. В письме к матери и другим членам семьи много внимания уделяет форме исповедального эпистолярного текста: “Ради Бога не велите Машке трудиться над письмами к нам (к нему и Петру. — *М.К.*) и учиться писать их. Уверьте ее, что лучше того, как она пишет, она никогда писать не будет, а очень легко может писать хуже, т.е. меньше натурально, меньше мило, меньше по-Машкински. Чем больше она будет работать над письмом, тем больше рискует сделать его похожим на другие, следовательно, поэтому оно уже будет не так драгоценно для нас. <...> чем хуже написанным письмо ее кажется ей самой, тем оно лучше в самом деле” [1, с. 297]. Подытоживая свои размышления, Киреевский подчеркивает, что в наибольшей степени ценит в письмах сестры “все душевное, простое, милое” [Там же], и предлагает лаконичную формулу-руководство, относящуюся и к содержанию, и к форме исповедального письма: “Пусть пишет, что придет в голову, и так, как придет” [Там же].

Таким образом, молодой Киреевский смело утверждал в качестве ключевого принципа семейного эпистолярного общения — принцип свободы, свободы самовыражения личности в письме. Он экстраполировал непосредственность домашнего состояния, поведения, общения — на семейную переписку, дававшую такие права. Особенно большими они были, понятно, в отношениях с сестрой, нежели с родителями. С сестрой можно было общаться в полной мере

“на равных”¹, поэтому также неудивительно, что Киреевский утверждает свою концепцию эпистолярного общения в первую очередь в переписке с ней. Согласно этой концепции, в центре эпистолярного общения оказывается личность пишущего, с ее сугубо частной жизнью, во всех подробностях важной только для нее самой и для ее адресата, очень близкого ей человека. Интересно отметить, что при всей, на первый взгляд, периферийности для литературного процесса сугубо частных семейных писем с их сугубо частными подробностями — утверждаемые молодым Киреевским принципы семейной переписки зиждились на логике литературного процесса своего времени и отвечали его актуальным запросам. Скажем, актуализировали важные для сентиментализма топоры домашней, повседневной жизни, сокровенных переживаний, состояний души и важный для романтизма концепт личности.

Мария Киреевская приняла и старалась применить в эпистолярной практике руководство брата. Об этом свидетельствуют как его отклики на ее письма, так и сами эти письма, которых сохранилось, к сожалению, очень немного. Показательно, например, одно из них, датированное 18–21 марта 1830 г. Оно состоит из трех небольших фрагментов, помеченных 18, 19 и 21 марта. Это те самые ежедневные несколько строк, о которых просил Иван. Мария отвечает на его просьбу: “Ваня! я было перестала писать к тебе всякий день, не потому, чтобы меньше думала об вас обоих (о нем и о Петре. — М.К.), ты, верно, этого не вообразишь, но потому, что, когда я перечитывала свои письма, они казались мне ужасно несвязны и нескладны. Но так как тебе нужды нет до их нескладности, то с нынешнего дня я пишу всякий день...” [9, л. 32]. Как и учил Иван, сестра в письмах к нему освещает повседневные домашние события, но основное внимание, как, опять же, он и хотел, уделяет своему личному отношению к ним (“У нас теперь живут Дуняша и Нат<алья> Андреевна <...>. Дуняша была бы славная девушка, если бы ей дали другое воспитание”, “Вчера <...> вечером у нас была пресмешная лекция. Маминька уговорила Эйнбрадта читать нам химию <...>. Он недурен собою и любезен с дамами <...>, но вряд ли он способен к серьезному разговору”, “Герке <...> бывает у нас почти всякий день. Я не люблю его...” [9, л. 32 об.]) — и, наконец, просто настроениям, состояниям души. “...с нынешнего дня я пишу всякий день, и мне это очень

весело” [9, л. 32], — сообщает она Ивану 18 марта. “Милые братья! Отчего-то мне так грустно!” [Там же] — признается 19-го. Тут же прибавляет, обращаясь к Петру: “Если мы скоро не получим от тебя <письма>, то мне будет горько очень” [Там же], — и к обоим братьям: “Дурачки мои, как мне хорошо будет, когда вы будете вместе, а теперь при получении письма от одного мы не можем вполне наслаждаться им, всегда боишься, отчего нет от другого” [Там же].

Послания Марии Киреевской к брату — за счет их содержания и “поденности” записей — могут рассматриваться как письма-дневники, соотносимые с теми, которые вели члены семьи Киреевских (Жуковский, Мария Протасова; переписка Жуковского с Елагиной тоже носила дневниково-эпистолярный характер). В России первой половины XIX в. эти два жанра зачастую сближались и переходили друг в друга. Само по себе ведение дневника было очень распространено. Оно в разное время практиковалось братьями Киреевскими и их друзьями и современниками, в особенности же современниками. По справедливому наблюдению Ф. Лежена, “ведение дневника предписывалось девушкам, а не юношам”, и “...было элементом воспитания” [10, с. 21]. Мария Киреевская вела дневники практически всю свою жизнь. Сохранились ранний (1825–1829 гг.) [11] и поздний (1845–1847 гг.) [12], а также фрагмент 1840 г. [13]. Думается, побуждая сестру посылать к нему письма-дневники, Иван Киреевский хотел участвовать в ее жизни, развитии и воспитании, видеть, направлять и корректировать этот процесс. Похоже, что в 1830 г., когда брат находился за границей, Мария приостановила ведение дневника. В ряде писем Киреевский осведомлялся: “Машка, скоро ли проснется твой журнал?” [1, с. 314], “Пишешь ли журнал?” [1, с. 320]. Письма к Ивану в значительной степени заменяли ей дневник.

Дневниковый характер очень отличает их от ее писем к другим лицам, даже к самому близкому человеку — матери. Последние невелики по объему и наполнены почти исключительно домашними заботами — подробными сведениями о младших братьях и сестрах, беспокойством о здоровье членов семьи и т.п. Показателен, например, следующий фрагмент, составляющий значительную часть письма: “Дети, милая маминька, все здоровы. Васинька к вам сам пишет. Он вчера целый день выдумывал, что бы сделать к вашему приезду. Колинька выучился очень смешно разговаривать. Андрюша начинает быть гораздо живее. Его глазки делаются преумными” [14, л. 7].

¹ Ср. схожие, и даже еще более разительные, различия в переписке 1777–1778 гг. М.Н. Муравьева, с одной стороны, с отцом, с другой — с сестрой (см.: [8]).

На этом фоне совершенно теряются редкие строки с изъявлением любви к матери и отчиму или с отзывами о прочитанных книгах. Очевидно, что Елагина, как и Жуковский, видела пользу в таких отзывах и побуждала к этому дочь. Таким образом, процент сведений собственно о себе — о своих мыслях и чувствах — в эпистолярной Марии Киреевской минимален. В письмах к Ивану, его усилиями, этот процент увеличился в несколько раз.

Вместе с тем, и “дневниковость” писем Киреевской к брату на поверку очень относительна. Ее письма-дневники гораздо больше — письма и гораздо меньше — дневники. Они в этом отношении очень отличны от писем-дневников Жуковского и Протасовой, от текстов, составляющих эпистолярный диалог Жуковского и Елагиной, наконец, и от писем обоих Елагиных, матери и отчима, к Ивану Киреевскому, — где налицо соразмерность обоих жанровых компонентов и яркая выраженность в обоих сентиментально-романтических черт, установки на глубокую авторефлексивность и исповедальность. Здесь уместно вспомнить выражение М.О. Гершензона, заметившего, что Киреевский “...вышел из этого гнезда, которое было, можно сказать, очагом романтического движения в России” [15, с. 421]. Мать и отчим практически все пространство своих посланий наполняют выражением чувств, на которые Мария-эпистограф, в сравнении с родителями, скупа. Благословляя в дорогу Ивана в одном из первых писем, Елагина очень много говорит о душе и переживаниях (“Да благословит тебя Бог! С надеждою и радостью повторяю это ежеминутное моление сердца! <...>. Ах, Ванюша! Как в твоей воле убить или живить мою душу! Несколько слов, тобою сказанных, утолили много страдания. <...>. Твои надежды на будущее дадут мне будущее, твоя действительность меня поддержит, твоя крепость, возвышенность (и над судьбою, и над своею слабостью) дадут мне силы и жизнь. <...>. Бери с собою в душу только то, что в ней оставаться должно, остальное <...> лишняя тяжесть. Все здесь тебя благословляют с любовью. Береги себя для всей семьи твоей. Господь с тобой” [16, л. 1]) и в последующих изливает душу обоим сыновьям (“Я знаю, почему вы не писали через две недели, как обещали: Ванюша был болен; это доказывает и бестолковость, и короткость его письма <...>. У вас обоих не поднималась рука обманывать мать, а Иван сам был не в силах писать. От этого же и Шеллинга вы все трое (сыновья и Н.М. Рожалин. — М.К.) еще не видели. <...>. Не обманывайте меня, пожалуйста, странно мне не узнать чего-нибудь, до вас касающегося:

ведь для души нет пространства” [17, л. 3]). Муж вторит ей, много и восторженно толкуя пасынку о “душе”, “сердце”, “любви”, “дружбе”, “семье” и т.п., об идеальных понятиях, важных в культуре романтизма и в лексиконе Жуковского, Протасовой, Елагиных (ср.: “...пока у меня будет хоть одна рубашка, ты можешь считать ее своею. <...>. Я огорчен до глубины души, но во всякую минуту моей жизни я повторяю себе, что за дружбу твою охотно отдал бы жизнь. <...> в моей семье <...> ты до сего времени был душою...” [18, л. 1]), “Не показывай ей (матери. — М.К.) этого письма: ей жутко будет узнать, что я тебе, кумиру души ее, указываю обязанности в отношении к ней. Как легко твоему сердцу понять ее — чистое и прекрасное” [18, л. 4 об.] и т.п.). Письма Марии Киреевской к Ивану, наконец, отличны и от ее дневников, чего Иван, не знакомый с последними, не мог заметить.

На первый взгляд, Мария ведет дневник по тем же принципам, которые “проповедовал” ей Иван (очевидно, потому она и приняла и усвоила их так скоро в отношении переписки): фиксирует события домашней жизни, свое отношение к ним, свои переживания, состояния души. Но делает это значительно подробнее, с гораздо большим самоуглублением, чем в письмах. Авторефлексия Марии в дневнике, как правило, направлена на оценку себя, своих поступков, слов, мыслей и чувств с нравственной позиции. В результате девушка нередко приходит к самоосуждению, близкому к покаянному: “Вчера был самый для меня несчастный <день>, потому что я не послушалась и нагубила маминьке, другу моему, которая любит и желает мне добра <...>. Я увидела из сего дня, что тот человек, который нетверд в своих намерениях, есть самый несчастный из всех людей, и потому я решилась, что, ежели я захочу сделать что-нибудь, что будет хорошо, никак не переменять моего намерения” [11, л. 2 об.] (запись от 2 января 1825 г.), “Сегодня я проснулась в ужасно дурном нраве <...>. Перед обедом я ленилась работать. После обеда я тоже ничего не сделала хорошего, и в шесть часов я пошла к Похвисневым, где вечер я провела самым сквернейшим образом. Я там ничего (так в тексте дневника. — М.К.) не научилась хорошего, и потому сей вечер был потерян для меня самым скучным образом” [11, л. 3] (запись от 3 января), «После обеда приехали Похвисневы, а потом Гоголь. Мы начали танцевать, в половине урока Гоголь подошел ко мне, одной рукой взял меня за руку, а другой рукой начал щипать <свою> (в тексте дневника: его. — М.К.) шею. Гордость моя ужасно как оскорбилась этим, и первое мое движение

было – выдернуть у него руку, но он удержал меня и начал кричать: “Машечка! Машечка!” Это меня еще больше рассердило» [Там же] (запись от 4 января). Из полудетского нравственного дневника второй половины 1820-х годов под пером Киреевской ко второй половине 1840-х годов сложится духовный дневник, центральная тема которого – Бог и ее путь к Нему².

Письма 1830 г. к Ивану представляют собой что-то вроде тезисного варианта дневника, который по желанию автора мог бы быть развернут в полноценный дневник. Они “не продуманы” в том смысле, в каком хотел брат: чувствуется, что Киреевская специально не трудилась над текстом и написала “натурально”, “просто”, “душевно”, “мило”, “по-Машкински”, “что пришло в голову и так, как пришло”. Она свободно переходит от одного события или впечатления к другому, сохраняет легкость стиля, непосредственность обращений к адресату (“Дурачки мои...”), интонации, близкие к разговорным. Вместе с тем, текст тщательно продуман автором в отношении авторефлексии, которая строго дозирована. Киреевская четко разграничивает жанры дневника, ведущегося для себя, и письма, адресованного другому, пусть и очень близкому человеку. Письма Марии к Ивану сдержанно-исповедальны. В них едва-едва визуализирована, скажем так, “душеизлиянная” исповедальность и вовсе отсутствует покаянная, в отличие от дневника. Соотнося их с дневником, можно вслед за М. Михеевым поставить вопрос о “пред-тексте” и подвергнуть сомнению тезис исследователя о том, что письмо непременно выступает в качестве такового по отношению к дневнику [19, с. 85]. В случае Марии Киреевской видятся равно допустимыми три варианта: письмо – “пред-текст” дневника (в этом случае письмо трансформируется в дневник за счет наращивания материала), дневник – “пред-текст” письма (обратный процесс: трансформация дневника в письмо за счет сжатия материала),

либо они независимы друг от друга. Второй и третий варианты представляются более вероятными.

От писем Ивана к Марии, каких сохранилось, к сожалению, всего три, естественно ожидать, что они написаны в соответствии с “проповеданными” им ей принципам. И действительно, в них налицо свободная манера общения, определяемая братско-сестринскими отношениями, – манера, соединяющая шутливо-дружеский и доверительно-ласковый тон. Этот синтез выразился в обращениях прескрипта (“Толстая Хозяйка!” [1, с. 260], “Милая Сеструшка!” [1, с. 279], “Дружочек Маша!” [1, с. 318]) и в семанте. Клаузула утверждает преобладающую доверительно-ласковую тональность (“Твой брат Иван” [1, с. 279], “Прощай, обнимаю тебя!” [1, с. 280], “Обнимаю тебя от всего сердца. Твой Иван” [1, с. 321]), которая и в целом во всех письмах выступает в роли ведущей, придавая им столь важный для автора исповедальный характер. Он особенно отличает последнее письмо, от <8–24 августа (20 августа – 5 сентября) 1830 г.>, написанное к дню рождения сестры. Вообще, от послания к посланию исповедальность текстов Киреевского нарастает. Первое из них – вышерассмотренное письмо-“проповедь”. Во втором Киреевский, благодарный сестре за выполнение его просьбы, старательно отвечает на полученное от нее письмо, уделяя внимание всем тем частностям ее внешней, общесемейной и внутренней жизни, которые она изложила. Отвечая, он как брат и друг переживает их вместе с ней, в свою очередь приоткрывает ей душу, в какой-то степени “взаимно исповедуются”, что и предлагал в первом письме; но одновременно – и по большей части – принимает ее исповедь, судит о ее состояниях, стремлениях и т.п. и осторожно направляет, дает советы, вступая в роль, близкую к роли духовного отца (ср.: “Я очень рад, что ты выдаешься с Похвисневой. Она одна из тех немногих девушек, которые живут, не играя роли, и уже поэтому она к тебе ближе других. <...>. Особенно грустно бывает мне, когда я подумаю о том, как тебе иногда должно быть скучно и пусто. Ради Бога только не думай прогнать этой скуки с Гринами и им подобными. Старайся во всех отношениях, во всех мыслях, во всех чувствах быть ближе к Маминьке. В ней найдешь все, что питает душу, и теперь ты уже можешь быть в полном смысле слова *ей другом*” [1, с. 280]). Очевидно, положение старшего брата, по его мысли, давало ему такие права и даже возлагало на него обязанность “вести” сестру и нести ответственность за нее, особенно в свете того, что родной отец их умер.

² Ср.: “Вчера вечером мне еще так было грустно на сердце, я так боялась, Господи! Что Ты не удостоишь нас, грешных, Твоей милости! А сегодня! Господи! Не только удостоил Св<ятых> Твоих Таин, – но и позволил еще сложить бремя греховное, и научил, и наставил, как устроить жизнь как можно лучше, совсем обновить ее! Щедрый и милостивый Господи! И это Твоя милость, Господи, что пока я собиралась спросить, хорошо ли будет всякий день писать журн<ал>, Батюшка сам сказал мне, чтобы я писала, – чтобы явно показать мне, Господи, что это Твоя воля! Грешная и недостойная! Неужели и эти все милости и щедроты пройдут для меня даром!”, “Сегодня <...> несколько раз ловила себя в рассеянии, не сосредоточенно молилась, казалось, не понимала важности дела, к которому приступила! Потом в остальной день много празднословила!” [12, л. 1, 2].

В третьем письме Киреевский в наибольшей степени “взаимно исповедуется” сестре, говоря не столько о ней, сколько о себе и своей сокровенной жизни (“Сны для меня не безделица. Лучшая жизнь моя была во сне. Не смейся же, когда я так много говорю об них. *Они вздор, но этот вздор доходит до сердца.* К тому же с кем лучше тебя я могу разделить его?” [1, с. 319]), о своей внешней жизни в Европе (“...брат и Рожалин вошли в мою комнату...” [1, с. 318], “...у меня перед глазами все немцы да немцы...” [1, с. 319], “Это письмо дойдет до тебя через месяц. Я тогда, вероятно, уже буду в Италии” [1, с. 320]), о личном отношении к Германии (“...Германию <...> я не нелюблю, а ненавижу!” [1, с. 319]) и к самой сестре (“...семечко от цветка: *Иван да Марья* <...> я посажу к себе глубоко в мысли...” [Там же], “...Милая Машка...” [1, с. 320]). Как можно видеть, это весьма обстоятельная исповедальность, преимущественно “душеизлиянная” и совершенно не покаянная, как и в письмах Марии; меньшая даже, чем в ее письмах. Да и эту очень редуцированную исповедальность Киреевский прикрывает покровом “буффонады”, вследствие чего нейтрализует, заканчивая письмо припиской: «Отгадала ли ты, Милая Машка, что это письмо писано после 3-х бутылок шампанского, выпитых за твое здоровье нами тремя (им, Петром и их общим другом Н.М. Рожалиным. — М.К.)? Я бы не послал тебе этот вздор, если бы не хотел доказать *на деле*, что ты не одна бываешь пьяна» [Там же]. Впрочем, стремление спрятаться за “буффонадой” говорит как раз о том, что представленная в письме редуцированная исповедальность, очевидно, переживалась его автором как исповедальность.

Из всей семьи, оставшейся в Москве, Киреевский адресовал отдельные письма только сестре (и то не всегда), иначе доверительный эпистолярный диалог с ней не мог бы получиться. Всем остальным своим близким, к которым нередко присоединял и сестру, он писал принципиально “общие” письма, что не раз оговаривал, считая очень важным: “...мне бы хотелось, чтобы мои письма были общие; мне бы не хотелось разделять тех, кого я люблю вместе” [1, с. 255], “...мне бы хотелось, чтобы письма мои были ко всем вам *вместе*” [1, с. 288]. Адресуя послания на имя матери, он действительно свободно обращался в них к разным членам семьи (“А ты, Машка, видно, в самом деле думаешь, что мне не интересны твои письма <...>?” [1, с. 255], “Здравствуй, брат Вася! Отчего ты не пишешь ко мне? <...> к следующей почте приготовь посланье в стихах...” [1, с. 279]), настоятельно просил мать читать Марии “*все*” [1, с. 261] его письма. Иногда отсылал

сестру в личном письме — к общему (“Об верховой езде (о вопросе сестры, прилично ли ей, девушке, этим заниматься. — М.К.) я писал к Маминьке” [1, с. 320]). Подобные отсылки в личном письме — к общему, а в общем — диалоги с отдельными членами семьи имели целью, как очевидно, создать некий тотальный внутрисемейный эпистолярный диалог, стереть границу между персональными и общими письмами. С одной стороны, это, наверное, не могло не убавить градус исповедальности, предполагающей скорее доверительное общение по душам двоих — человека с человеком, чем общение с целым кругом, пусть и близких, лиц. С другой, очевидно, должно было, наоборот, ее упрочивать и усиливать, потому что Киреевский имел в виду именно предельно доверительный эпистолярный диалог целого — семейного — круга лиц, принципиально нераздельных.

Молодой эпистограф старательно и успешно подчинял общие письма к родным тем же принципам, которые “проповедовал” сестре и реализовывал в переписке с ней. Ключевой принцип исповедальности, таким образом, распространялся на общесемейную переписку. Неудивительно, что Киреевский от письма к письму просит родных не показывать его послания и даже не передавать из них ни слова посторонним: “...кроме *вас*, пожалуйста, не показывайте их *никому*, иначе я стану их сочинять...” [1, с. 288], “...если я буду думать, что хотя одно слово из моих писем выйдет из круга моей семьи, то это будет для меня отменно неприятно. <...> видеть меня таким, каков я в самом деле, и вместе любить, — может только моя семья. Немногие друзья мои не все исключение; из них многие любят во мне такие качества, которых я не имею” [1, с. 313]. Итак, молодым эпистографом четко разделяются семейный круг — и все остальные люди, находящиеся за его пределами. Семейная переписка, соответственно, четко противопоставляется несемейной, в том числе дружеской, утверждается предельная доверительность первой, и только первой, обусловленная предельно близкими отношениями внутри семьи. Лишь в семье и, следовательно, в семейной переписке, по Киреевскому, можно быть самим собой.

Разворачиваемая молодым эпистографом концепция исповедальной внутрисемейной переписки, на первый взгляд, невоплотимая на деле, с учетом большого количества участников этой переписки и, следовательно, утраты ею личного характера, — зиждилась на его концепции семьи. Идеальная семья, каковой он считает свою, представляет собой, по его убеждению, единое целое;

каждый член семьи — часть и одновременно тождество этого целого. “...Вы — это я, — писал Киреевский матери, — это мы все...” [1, с. 253], — и, обращаясь, очевидно, ко всем членам семьи: “...вы <...> это тот же я, только лучший, больше интересный для худшего” [1, с. 270], “...нашел я письмо от брата, <...> об вас, о московской половине нас...” [1, с. 283]. В общесемейной исповедальной переписке Киреевский, думается, видел, во-первых, соответствие ее сплоченности (семья нераздельна, следовательно, и письма к ней едины), а во-вторых, средство к большему, предельному ее сплочению, если таковое еще не достигнуто. Дружеские связи и дружеская переписка понимались им в чем-то схоже (тоже шло расширение круга участников, включавшихся в дружеское “братство” и дружескую переписку), но в главном — принципиально иначе: общение с каждым участником велось по-своему, потому что каждый мыслился лишь как часть, но отнюдь не как тождество всех. Принцип тождества применялся Киреевским только к семье (где, по его мысли, каждый тождествен самому себе, одновременно другому и, наконец, всем) и определил тотально-исповедальный характер только семейной переписки, тогда как в дружеской он актуализировался осторожно и избирательно (скажем, в эпистолярном общении с Кошелевым, но не с С.А. Соболевским, с которым общение велось в духе “буффонады”).

Повторяемая Киреевским самоидентификация по отношению к семье: “Вы — это я...”, “...вы <...> это тот же я, только лучший, более интересный для худшего” — создавала предпосылки для углубленной и вместе с тем “разноплановой” исповедальной авторефлексии: с одной стороны, для “душеизлиянной” (первый из приведенных тезисов) и покаянной (второй, актуализирующий “вертикаль”: я — ниже, хуже; вы — выше, лучше), с другой — для исповедально-эпистолярной и исповедально-дневниковой, позволяя реализовать одновременно установку на обращение к иному лицу, характерную для письма, и к самому себе, характерную для дневника. Примечательно жанровое определение, найденное самим Киреевским: “Письма мои к вам — мой журнал” [1, с. 271], — сообщил он близким. Это определение представляется очень точным. “Журналами” в XIX в. называли дневники (ср.: “Машка, скоро ли проснется твой журнал?”, “Пишешь ли журнал?”), в том числе семейно-бытовые, по классификации О.Г. Егорова [20, с. 147–150] (очевидно, эту разновидность дневникового жанра Киреевский имеет в виду, прося сестру: “...веди журнал тому, что у вас делается”; он предлагал

ей создавать такой дневник в эпистолярной форме — в письмах к нему), и путевые. Киреевский в посланиях домой синтезирует и неизбежно переосмысляет жанровые инварианты дневника, создавая одновременно путевой и непутевой (“классический”, по О.Г. Егорову [20, с. 21]) дневник в эпистолярной форме. Его, очевидно, смущает получившийся гибрид, поэтому, охарактеризовав свои корреспонденции как “журнал”, он поясняет: «Несмотря на то (здесь имеется в виду “классический” дневник. — М.К.) или именно потому (а здесь путевой. — М.К.) не ждите найти в них многого обо мне самом. Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу, плюс несколько мыслей об Москве, одинаких, неизменных, как Господь помилуй. Одна только перемена, может быть, и бывает в мыслях: большее или меньшее беспокойство об вас. Вот почему прошу вас всем сердцем: пишите мне чаще и больше» [1, с. 271].

Итак, по Киреевскому, сама ситуация пребывания на Западе и актуализируемые ею в его эпистолярной элементу путевого дневника-письма подчас лишают его послания той исповедальности, которую он “проповедовал” сестре и вместе с ней всей семье. Пребывание в “чужом” пространстве определяет внимание к нему, к его внешним реалиям, которые, как может предполагать эпистограф, интересны и адресатам, отсюда возможное уменьшение внимания к личному в путевых письмах. Таким образом, по мысли Киреевского, его собственная роль в эпистолярном диалоге и роль оставленной им в России семьи несколько различны. Ситуация путешествия оказалась в этом плане очень удобной. Она позволяла ждать доверительных писем из дома, самому же дозировать авторефлексию, к которой Киреевский, как можно было видеть и по его дружеской переписке, и по письмам к сестре, и в чем он, наконец, прямо признался родным: “Вы знаете, что я не люблю говорить об том, что чувствую...” [1, с. 275], — был не очень склонен. Он дозировал авторефлексию, переключая по мере необходимости “классический” дневник в путевой. Но это с одной стороны. С другой — инкрустировал в путевой дневник черты “классического” дневника и вместе с тем элементы исповеди, создавая тексты, соотносимые в этом отношении с письмами-дневниками его сестры и других членов семьи; исповедальная рефлексия в письме могла быть более глубокой и свободной, поскольку письмо предполагало более свободную композицию, чем дневник, в котором автор связан, например, сменой подневных

записей³. Именно поэтому и просил родных не выносить за пределы семейного круга ни слова из его корреспонденций.

Вопреки традиции, закрепившейся за путевым письмом еще во второй половине XVIII — начале XIX в., Киреевский весьма мало пишет об открывшихся его взору новых реалиях. Он ими мало увлечен. Центральная тема его европейских писем — русская, семейная. Очень характерна его рецепция Сикстинской Мадонны Рафаэля, шедевра, потрясавшего его соотечественников, прибывших в Дрезден (ср. восторженные отзывы о ней В.А. Жуковского и В.К. Кюхельбекера) и им самим увиденная впервые: “...чем больше я всматривался в Мадонну, тем живее являлся предо мною образ Машки (сестры. — М.К.) и, наконец, так завладел мною, что я из-за него почти не понимал других картин, и на Рубенса и Фандика смотрел, как на обои” [1, с. 292]. Мысли и чувства автора сосредоточены вокруг родных. Он признается им, что жертвует ради семейной — дружеской перепиской (“Я не пишу ни к кому теперь, боясь задержкою письма дать вам лишний день беспокойства” [1, с. 305]); думая о них днем и ночью, переживая и тоскуя, — видит их в снах, рисующих долгожданную встречу и вместе с тем нечто тревожное. “Милая сестра! — пишет он. — <...>. Сегодня я видел тебя во сне, так живо, так грустно, как будто в самом деле. Мне казалось, будто вы опять собираете меня в дорогу, а Машка сидит со мною в зале подле окна и держит мою руку, и устала свои глазки на меня, из которых начинают скатываться слезки. Мне опять стало так же жаль ее, как в день отъезда, и *все* утро сегодня я плакал, как ребенок” [1, с. 270], “С некоторого времени я беспокоюсь об Андрюше <...>. После обеда (единственный раз после обеда в Берлине) я видел дурной сон про него. Вспомните, если можно, не было ли в этот день с ним чего-нибудь необыкновенного. Есть сны, которым я верю, и по праву” [1, с. 278], “Я всякий день вижу, что воротился к вам, и опять собираюсь ехать: что это значит?” [1, с. 314], “Знаешь ли ты, что я *во всяком* сне бываю у вас? С тех пор, как я уехал, не прошло ни одной ночи, чтоб я не был в Москве” [1, с. 318]. Убежденный в теснейших связях между членами своей семьи, Киреевский верит этим снам, полагая, что сердцем прозревает происходящее

³ Ср. наблюдение О.В. Мамуркиной: “Если композиция дневникового нарратива достаточно типична, то эпистолярные формы организации текста более любопытны” [21, с. 80]. В отношении путевого дневника исследовательница справедливо указывает на “...строгую упорядоченность записей, приуроченных к пребыванию в конкретном месте...” [22, с. 14–15].

с родными, несмотря на большое расстояние и время, проходящее от отправки до получения семьей письма и затем до получения ответа.

Пытаясь преодолеть разделяющие его с родными пространственно-временные границы, молодой эпистограф прибегает к способам, применявшимся им самим и его корреспондентами в дружеской переписке. Во-первых, полагает необходимым чаще писать друг к другу. Сам он, как и в дружеской переписке, по лени и занятости не очень это правило соблюдает, но настойчиво просит родных соблюдать, подчеркивая, что для него, одиноко пребывающего за границей, письма из дома крайне важны. В его понимании, они служат не только средством сохранения и укрепления сердечных связей, как было в дружеской переписке, но и средством жизненно необходимым: без них он не может жить. “Наконец письмо от вас! — восклицает Киреевский в нехарактерной, но единственно возможной для него в данном случае эмоциональной манере. — Я не умею выразить, что мне получить письмо от вас! <...> я читал его с таким наслаждением, какого *давно* не имел. Вся моя жизнь, <с> (в тексте описки: до. — М.К.) тех пор, как я оставил Москву, была в мыслях об Москве, в разгадывании того, что у вас делается; все остальное я видел сквозь сон. Ни одного впечатления не принял я здесь свежим сердцем, и каждый порыв стоил мне усилий. Судите ж после того, как живительны, как необходимы мне ваши письма” [1, с. 275]. Итак, вводится характерная антиномия: сон о родном доме и о близких — реальность, подлинная жизнь, тогда как пребывание в Европе и вся европейская действительность — не-жизнь, сон. Неудивительно, что она ему так мало интересна, он не склонен уделять ей большого внимания. Мыслью и сердцем Киреевский больше в России, чем в Европе. Антитеза “свой — чужой”, границы которой актуальны для травелога, но постоянно в нем размываются, по наблюдению В.М. Гуминского [23, с. 11], — предельно размываются в эпистолярной молодого путешественника. Он абстрагируется от Европы и переносится в Россию, читая и перечитывая письма родных (“Я люблю перечитывать ваши письма, даже старые, и часто это делаю. Таким манером я иногда слушаю вас больше двух часов, потому что пакет уже набрался порядочный. Зачем только в этом разговоре столько печального!” [1, с. 316]), и сам адресуясь к ним. Но для полноценного сопребывания необходимо двустороннее и регулярное, как можно более частое эпистолярное общение, настаивает Киреевский, сетуя от письма к письму: “Я между тем буду писать к вам чаще обыкновенного, чтобы

хоть этим вызвать ваши письма. <...>. Правда, что, писавши к вам, я больше с вами, чем когда просто об вас думаю. Однако я говорю с вами как глухой и слепой, который знает, что его слышат, но не знает, что делается вокруг него; боится шутить не в пору; боится не в пору вздохнуть, и, может быть, даже замолчал бы, если бы не боялся, что и молчанье его будет не в пору” [1, с. 324]. Примечательны слова “с вами”, “вокруг него”, образующие устойчивый мотив соприсутствия Киреевского оставленным в Москве родным – мотив, поддерживаемый и другими письмами.

Помимо переписки молодой путешественник, во-вторых, старается нивелировать пространственно-временную дистанцию с адресатами, как делал это и в дружеском эпистолярном общении, через синхронное празднование важных для обеих сторон-участниц эпистолярного диалога событий и дат. В данном случае для Киреевского такие события – важные для его семьи праздники. Скажем, Пасха (“Здравствуйте, – пишет он родным. – Через час у вас ударят в колокола, и теперь вы уже проснулись и готовитесь к утруне. Как живо я вижу всех вас! Ваши сборы, одеванья, кофей; кажется, даже отгадал бы разговоры ваши, если бы был уверен, что у вас все так, как было при последнем письме вашем, что вы здоровы и спокойны. Думая об нас, вы знаете, что наши мысли теперь с вами, и если вы все не сомневаетесь в этом, то бьюсь об заклад, что Машинька это сказала. <...>. У нас здесь, несмотря на Греческую Церковь, заутрени нет, но это не мешает нам <...> присутствовать при вашем Христосовании” [1, с. 293]), а также праздники внутрисемейные – например, дни рождения брата и сестры (“Сегодня рождение Брата. Как-то проведете вы этот день! Как грустно должно быть ему (в Мюнхене. – М.К.). Этот день должен быть для всех нас святым: он дал нашей семье лучшее сокровище” [1, с. 268]), “Дружочек Маша! Сегодня твое рождение, и, чтобы освятить себя в этот день, я начинаю его письмом к тебе, милая сестра. Мудрено и грустно начать твое рождение письмом” [1, с. 318]), именины матери (“Сегодня ваши именины. Я нарочно не кончил письма прежде, чтобы писать к вам сегодня, милое, несравненное наше сокровище. Не знаю, поздравлять ли вас с этим днем. Был ли он для вас праздником? Что у вас? что болезни? Что мой отъезд? Ради Бога скажите мне правду, и хорошую. Полно же грустить обо мне. Если вы все здоровы и нет другой причины к горю, то обо мне не горюйте *для меня*” [1, с. 277]). Этот прием соприсутствия эпистолога адресату в памятный день, соучастия в празднике гораздо более значим для Киреевского в семейной, чем

в дружеской переписке. В первой он применяется часто, при каждом удобном случае, поскольку автору письма жизненно важно быть с родными, тогда как разлука с друзьями для него легкопереносима. Применяя этот прием в семейной переписке, Киреевский задействует все его возможности: “соприсутствует” при поступках и разговорах родных, общается с ними, старается угадать даже их мысли и переживает вместе с ними их состояния души, – чего не делал в дружеской переписке. Тем самым он абстрагируется от актуальных для него в момент написания письма “немецких” времени и пространства, стремясь к сопричастности оставленной в России семье.

Но преодолеть немецкие время и пространство в полной мере Киреевскому не удастся. Симптоматично, что он настоятельно просит адресатов “не горевать” “*для него*”, поскольку, получив печальное письмо, и сам опечалится. Более того – опечалится, скорее всего, сильнее, чем его родные и чем нужно, и очень встревожится, потому что выяснить в эпистолярном отсроченном и нерегулярном “полудиалоге” причину грусти второй стороны трудно. К тому моменту, когда это, возможно, наконец, удастся, – и грусть, и ее причина могут быть уже неактуальны. Итак, более или менее успешно преодолевая – через переписку и сопереживание праздников – пространственные границы, Киреевский сталкивается с непреодолимостью временных. Любопытны его резкие, внешне не мотивированные переходы от настоящего времени, времени написания письма и соприсутствия семье в праздничный день, времени, которое актуально в этот день для автора письма и его адресатов-родных, поэтому объединяет его с ними (“Сегодня ваши именины”), – к прошедшему (“Не знаю, поздравлять ли вас с этим днем. Был ли он для вас праздником?”), которым станет для них, как, впрочем, и для него, сегодняшнее настоящее, день именин, – когда они получают его письмо. С одной стороны, Киреевский, последовательно придерживаясь принципа соприсутствия семье, пытается объединить свою (время написания письма) и их (время получения письма) темпоральные категории, с другой – все же не преуспевает в этом, потому что это невозможно, отсюда его переживания.

Неудивительно, что Киреевский успокаивается и отдыхает душой, выходя за пределы темпоральных категорий. Проживая праздничный для своей семьи день, он, как очевидно, акцентирует для себя прежде всего, во-первых, его ежегодный ход и смысл, а во-вторых, его вневременную значимость. Примечательно, что прежде всего

молодой эпистолограф чтит семейные праздники как “святыи”, поэтому стремится провести их небуднично, выделить из череды дней, побольше написать в эти дни родным, осмыслить, что такое “они”, его семья, какое место занимает в ней виновник торжества (вывод всегда один — очень важное и прекрасное: и мать, и брат Петр характеризуются Иваном как “сокровище”) и он сам. Суждение: “...Вы — это я...”, в сущности, что глубоко логично, относится Киреевским к каждому члену семьи и тем самым подтверждается: семья предстает подлинно нераздельной. Свое отношение к ней эпистолограф означил в первом же европейском письме, написанном в Берлине в феврале 1830 г.: “Вчера получил я ваши милые, святыи письма. Чувство, которое они дали мне, я не могу ни назвать, ни описать. На *каждое* слово ваше я отвечал вам слезою, а на большую часть у вас не достало слов” [1, с. 268].

В таком контексте развитие семейной темы как центральной придает переписке молодого путешественника с близкими характер исповедальной, несмотря на то, что они пишут ему, к его огорчению, редко, а он, к их огорчению, не так много говорит о себе. Последнее можно объяснить не только его несклонностью к прямой душеизлиянной авторефлексии, но и тем, что он себя вне семьи не видит, не мыслит. “...Вы — это я...”, — сказал он раз и навсегда, — и действительно, где бы он ни находился, в Берлине ли, в Мюнхене ли, — душой он остался в семье. Вне нее для него существует только внешняя жизнь, внешние реалии европейского мира, не-жизнь, “сон”, — что он и пытался до них донести, говоря: “Письма мои к вам — мой журнал. <...> не ждите найти в них многого обо мне самом. Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу...” [1, с. 271], — и в одном из последующих писем: “...повторять вам слышанное на лекциях было бы и скучно, и мудро, и смешно, и дорого (речь о почтовых расходах. — *М.К.*); повторять читанное в книгах — не лучше; а мысли об вас как итальянское небо, которое можно понять только чувством и которое в описании будет только слово. Эти мысли, впрочем, как-то не доходят до мысли: они то память, то чувство, то воздушный замок, то беспокойство, то сон и никогда силлогизм. Покуда думаешь их, не думая об них, кажется, наполнен мыслями; захочешь рассказать: ни одной не поймешь в слово. Тем больше, что все это, кажется, рассказывать не для чего. В самом деле, к чему вам знать, что тогда-то я думал то-то, то как вы сидите в саду, то здоровы ли вы, то Машкина рожица...” [1, с. 313]. В приведенном рассуждении речь как будто и напрямую идет

о исповедальности писем — о том, что мысли о семье и чувства к ней невозможно и не нужно вербализовать, так что больше умалчивается, чем высказывается. Вместе с тем, исповедальность писем относительна, связанная с ней эпистолярная ситуация неоднозначна, ведь именно это рассуждение завершается просьбой ни “слова” из семейных писем не сообщать посторонним, то есть утверждается как раз-таки исповедальность крайне редуцированной эпистолярной авторефлексии и даже молчания. Признаваясь родным: “...Вы — это я...” и “Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу...”, — Киреевский по-своему указывал на исповедальность и тех своих писем, в которых она, казалось бы, очевидна: раскрывая и семейную, и европейскую тему, — он писал о себе.

Как можно видеть, Киреевский понимал исповедальное семейное письмо не столько в сентиментальном ключе, в традициях эпистолярного общения конца XVIII — начала XIX в., сколько в актуальном для 1830-х годов романтическом, имея в виду рационально непостижимое общение родственных душ, составляющих единое целое и преодолевающих разделяющие их границы. К такому общению он стремился, но, как все романтики, не достигал идеала, томился в тоске по нему. Это общение было, при взгляде со стороны, менее исповедально, без развернутой авторефлексии и обширных “душеизлияний”. По существу же — оно было предельно исповедально, поскольку предполагало слияние, тождество автора и адресатов. Эпистолярный текст, таким образом, переходил в дневниковый. Точнее, неизменно балансировал на грани письма и дневника. Параллельно шло радикальное переосмысление жанровых традиций путевой эпистографии и самой культурфилософской ситуации путешествия. Семейная переписка этой литературной семьи, что характерно, стала органической частью литературного процесса своей эпохи и имеет литературную ценность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Киреевский И.В.* Письма. 1816–1839 // Киреевский И.В. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 1. С. 183–427.
2. *Кошелев А.И.* Письма И.В. Киреевскому (1822–1828) (Публ. Е.В. Лудиловой) // Русская литература. 2005. № 1. С. 96–124.
3. *Гинзбург Л.Я.* “Застенчивость чувства”. По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры. М., 1987. С. 183–188.

4. Гинзбург Л.Я. Эвфемизмы высокого (По поводу писем людей пушкинского круга) // Вопросы литературы. 1987. № 5. С. 199–208.
5. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255–270.
6. Долгушин Д.В., прот. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 352 с.
7. Жуковский В.А. Дневники 1814 года // Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки 1804–1833. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 62–94.
8. Атанасова-Соколова Д. “Говоря с тобою чрез письмо...”. Письма М.Н. Муравьева // Новый филологический вестник. 2006. № 1 (2). С. 24–36; № 2 (3). С. 94–107.
9. Киреевская М.В. Письма к И.В. Киреевскому // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 82. 37 л.
10. Лежен Ф. “Я” молодых девушек (пер. Е.П. Гречаной) // Автобиографическая практика в России и во Франции. Сб. ст. / Под ред. К. Вьолле и Е. Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 13–29.
11. Киреевская М.В. Дневник (1 января 1825 – 26 июня 1829 г.). Автограф // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 495. 47 л.
12. Киреевская М.В. Дневник (1846, август – 1847, декабрь). Автограф // ОР РГБ. Ф. 99. К. 25. Ед. хр. 11. 27 л.
13. Киреевская М.В. Дневник (1840 апр. 11 и 12; [1840–1847]). Автограф // ОР РГБ. Ф. 99. К. 15. Ед. хр. 54. 4 л.
14. Киреевская М.В. Письма к А.П. Елагиной. 1824–1847 // ОР РГБ. Ф. 99. К. 6. Ед. хр. 94. 33 л.
15. Гершензон М.О. Иван Васильевич Киреевский // Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества. Калуга: Издательский педагогический центр “Гриф”, 2006. С. 415–446.
16. Елагина А.П. Письмо к И.В. Киреевскому от 18 января 1830 г. // ОР РГБ. Ф. 99. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 1.
17. Елагина А.П. Письма к И.В. Киреевскому с приписками П.В., М.В. Киреевских и Е.И. Елагиной. На русском и французском яз. 18 июня 1823–1856 // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 67. 56 л.
18. Елагин А.А. Письма к И.В. Киреевскому от 25 августа 1829 г. – 29 июня 1836 г. // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 65. 54 л.
19. Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей Publishers, 2007. 264 с.
20. Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. М.: Флинта; Наука, 2003. 279 с.
21. Мамуркина О.В. Композиция как источник художественного нарратива в литературе путешествий второй половины XVIII века // Вестник Череповецкого гос. ун-та. Сер. Филологические науки. 2012. № 1. Т. 1. С. 79–82.
22. Мамуркина О.В. Жанровые традиции документальной путевой прозы в литературе конца XVIII – начала XIX века // Пушкинские чтения – 2013. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст. СПб.: Изд-во ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. С. 13–18.
23. Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе. Автореф. дис. ... к. филол. н. М., 1979. 24 с.

REFERENCES

1. Kireevsky, I.V. *Pisma. 1816–1839* [Letters. 1816–1839]. Kireevsky, I.V. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 3 t.* [Complete Works and Letters: in 3 Vols.]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2018, Vol. 1, pp. 183–427. (In Russ.)
2. Koshelev, A.I. *Pisma I.V. Kireevskomu (1822–1828)* [Letters to I.V. Kireevsky (1822–1828)] (Publ. E.V. Ludilovoj). *Russkaya literature* [Russian Literature]. 2005, No. 1, pp. 96–124. (In Russ.)
3. Ginzburg, L.Ya. “Zastenchivost chuvstva”. *Po povodu pisem lyudej pushkinskogo kruga* [“Shyness of Feeling”. Concerning the Letters of the People of Pushkin’s Circle]. *Krasnaya kniga kultury* [Red Book for Culture]. Moscow, 1987, pp. 183–188. (In Russ.)
4. Ginzburg, L.Ya. *Evfemizmy vysokogo (Po povodu pisem lyudej pushkinskogo kruga)* [Euphemisms of the High (About the letters of People of the Pushkin’s Circle)]. *Voprosy literatury* [Topics in the Study of Literature]. 1987, No. 5, pp. 199–208. (In Russ.)
5. Tynyanov, Yu.N. *Literaturnyj fakt* [Literary Fact]. Tynyanov, Yu.N. *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. The History of Literature. Movie]. Moscow, 1977, pp. 255–270. (In Russ.)
6. Dolgushin, D.V., prot. V.A. Zhukovsky i I.V. Kireevsky: *Iz istorii religioznyh iskanij russkogo romantizma* [V.A. Zhukovsky and I.V. Kireevsky: From the History of the Religious Quest of Russian Romanticism]. Moscow, *Rukopisnye pamyatniki Drevnej Rusi* Publ., 2009. 352 p. (In Russ.)
7. Zhukovsky, V.A. *Dnevnik 1814 goda* [Diaries of 1814]. Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: V 20 t. T. 13. Dnevnik. Pisma-dnevnik. Zapisnye knizhki 1804–1833* [Complete Works and Letters: in 20 Vols. Vol. 13. Diaries. Letters-Diaries. Notebooks 1804–1833]. Moscow, *Yazyki slavyanskoj kultury* Publ., 2004, pp. 62–94. (In Russ.)

8. Atanasova-Sokolova, D. "Govorya s toboyu chrez pismo...". *Pisma M.N. Muravyova* ["Speaking to You Through a Letter..."]. *Letters of M. N. Muravyov. Novyj filologicheskij vestnik* [New Philological Bulletin]. 2006, No. 1 (2), pp. 24–36; No. 2 (3), pp. 94–107. (In Russ.)
9. Kireevskaya, M.V. *Pisma k I.V. Kireevskomu* [Letters to I.V. Kireevsky]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 82. 37 l. (In Russ.)
10. Lejeune, Ph. "Ya" *molodyh devushek (per. E.P. Grechanoj)* ["I" of Young Girls]. *Avtobiograficheskaya praktika v Rossii i vo Francii. Sb. st. Pod red. K. Vjolle i E. Grechanoj* [Autobiographical Practice in Russia and France. Collection of Articles. Edited by K. Viollet and E. Grechanaya]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2006, pp. 13–29. (In Russ.)
11. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1 yanvarya 1825 – 26 iyunya 1829 g.)* [Diary (January 1, 1825 – June 26, 1829)]. Avtograf. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 495. 47 l. (In Russ.)
12. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1846, avgust – 1847, dekabr)* [Diary (1846, August – 1847, December)]. Avtograf. OR RGB. F. 99. K. 25. Ed. hr. 11. 27 l. (In Russ.)
13. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1840 apr. 11 i 12; [1840–1847])* [Diary (1840 Apr. 11 & 12; [1840–1847])]. Avtograf. OR RGB. F. 99. K. 15. Ed. hr. 54. 4 l. (In Russ.)
14. Kireevskaya, M.V. *Pisma k A.P. Elaginoj. 1824–1847* [Letters to A.P. Elagina. 1824–1847]. OR RGB. F. 99. K. 6. Ed. hr. 94. 33 l. (In Russ.)
15. Gershenzon, M.O. *Ivan Vasiljevich Kireevsky* [Ivan Vasilievich Kireevsky]. Kireevsky, I.V., Kireevsky, P.V. *Poln. sobr. soch.: V 4 t. T. 4. Materialy k biografijam. Vospriyatie i ocenka lichnosti i tvorchestva* [Complete Works: In 4 Vols. Vol. 4. Materials for Biographies. Perception and Evaluation of Personality and Creativity]. Kaluga, Izdatelskij pedagogicheskij centr "Grif" Publ., 2006, pp. 415–446. (In Russ.)
16. Elagina, A.P. *Pismo k I.V. Kireevskomu ot 18 yanvarya 1830 g.* [Letter to I.V. Kireevsky dated January 18, 1830]. OR RGB. F. 99. K. 2. Ed. hr. 7. L. 1. (In Russ.)
17. Elagina, A.P. *Pisma k I.V. Kireevskomu s pripiskami P.V., M.V. Kireevskih i E.I. Elaginoj. Na russkom i francuzskom yaz. 18 iyunya 1823–1856* [Letters to I.V. Kireevsky with Postscripts to P.V., M.V. Kireevsky and E.I. Elagina. In Russian and French. June 18, 1823–1856]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 67. 56 l. (In Russ.)
18. Elagin, A.A. *Pisma k I.V. Kireevskomu ot 25 avgusta 1829 g. – 29 iyunya 1836 g.* [Letters to I.V. Kireevsky dated August 25, 1829 – June 29, 1836]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 65. 54 l. (In Russ.)
19. Mikheev, M. *Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX–XX)* [Diary as an Ego-Text (Russia, the 19th–20th Centuries)]. Moscow, Vodolej Publ., 2007. 264 p. (In Russ.)
20. Egorov, O.G. *Russkij literaturnyj dnevnik XIX veka. Istorija i teoriya zhanra* [Russian Literary Diary of the 19th Century. History and Theory of the Genre]. Moscow, Flinta; Nauka Publ., 2003. 279 p. (In Russ.)
21. Mamurkina, O.V. *Kompoziciya kak istochnik hudozhestvennogo narrativa v literature puteshestvij vtoroj poloviny XVIII veka* [Composition as a Source of Artistic Narrative in Travel Literature of the Second Half of the 18th Century]. *Vestnik Cherepovetskogo gos. un-ta. Ser. Filologicheskie nauki* [Bulletin of the Cherepovets State University. Ser. Philological sciences]. 2012, No. 1, Vol. 1, pp. 79–82. (In Russ.)
22. Mamurkina, O.V. *Zhanrovyje tradicii dokumentalnoj putevoj prozy v literature konca XVIII – nachala XIX veka* [Genre Traditions of Documentary Travel Prose in the Literature of the late 18th – early 19th Centuries]. *Pushkinskie chteniya – 2013. Hudozhestvennyje strategii klassicheskoj i novej literatury: zhanr, avtor, tekst* [Pushkin Readings – 2013. Artistic Strategies of Classical and New Literature: Genre, Author, Text]. St. Petersburg, Izd-vo LGU im. A.S. Pushkina Publ., 2013, pp. 13–18. (In Russ.)
23. Guminsky, V.M. *Problema genezisa i razvitiya zhanra puteshestvij v russkoj literature* [The Problem of the Genesis and Development of the Travel Genre in Russian Literature]. *Avto-ref. diss. ... k. filol. n.* [Abstract of the Dissertation of the Cand. Sci. (Philol.)]. Moscow, 1979. 24 p. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 5 декабря 2022 г.
 Статья поступила после рецензирования и доработки: 12 декабря 2022 г.
 Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.
 Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on December 5, 2022
 Revised on December 12, 2022
 Accepted on December 15, 2022
 Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024634-3

Образ Христа-возлюбленного и проблематика субъектности в женской лирике Серебряного века

© 2023 г. Е. В. Кузнецова

Кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
ORCID ID: 0000-0001-6045-2162
katkuz1@mail.ru

Резюме. В статье проанализированы индивидуально-авторские воплощения образа Христа в поэзии З. Гиппиус, М. Лохвицкой, Е. Дмитриевой (Черубины де Габриак), А. Герцык, Е. Кузьминой-Караваевой и А. Барковой. Влюбленность в Христа окрашивается в женской лирике Серебряного века эротическими тонами, а предметом поэтического описания становится его божественная красота. Обращение к этому образу тесно связано с проблематикой субъектности и поиском новой авторской идентичности, которые характеризуют женскую лирику рубежа XIX – нач. XX в. Перестраивая традиционные представления о фемининности, женщины-авторы разрушают и традиционные представления о любовной лирике, о “другом”, по отношению к которому они определяют свое “я”: на место романтического идеального возлюбленного ставится Христос. Подчинение ему не лишает женщину-автора субъектности, а наоборот – позволяет доказать право на творчество. Об этом свидетельствует мотив избранности лирических героинь данных авторов. Имплицитно они соотносят себя с такими святыми избранницами, как св. Тереза Авильская или св. Екатерина Сиенская, которые прославились и как “возлюбленные”, земные “супруги” Христа, и как писательницы, обретя право слова в маскулинной культуре позднего Средневековья.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10100, <https://rscf.ru/project/19-78-10100/>) в ИМЛИ РАН.

Ключевые слова: женская лирика, Христос-возлюбленный, проблематика субъектности, фемининность.

Для цитирования: Кузнецова Е.В. Образ Христа-возлюбленного и проблематика субъектности в женской лирике Серебряного века // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 51–66. DOI: 10.31857/S160578800024634-3

The Image of Christ the Beloved and the Problems of Subjectivity in the Women’s Lyrics of the Silver Age

© 2023 Ekaterina V. Kuznetsova

Cand. Sci. (Philol.),
Senior Researcher at the A.M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
25a Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
ORCID ID: 0000-0001-6045-2162
katkuz1@mail.ru

Abstract. The article analyzes the individual author's incarnations of the image of Christ in the poetry of Z. Gippius, M. Lokhvitskaya, E. Dmitrieva (Cherubina de Gabriak), A. Herzyk, E. Kuzmina-Karavaeva and A. Barkova. Falling in love with Christ is colored in the women's lyrics of the Silver Age with erotic tones, and his divine beauty becomes the subject of poetic description. The appeal to this image is closely connected with the problems of subjectivity and the search for a new author's identity, which characterize women's lyrics of the turn of the 19th–beginning 20th centuries. By reconstructing traditional ideas about femininity, female authors also destroy traditional ideas about love lyrics, about the “other” in relation to whom they define their “I”: Christ is put in place of the Romantic ideal lover. Submission to him does not deprive the female author of subjectivity, but on the contrary – allows one to prove the right to creativity. This is evidenced by the motive of the choice of the lyrical heroines of these authors. Implicitly, they relate themselves to such holy chosen ones as St. Teresa of Avila or St. Catherine of Siena, who became famous both as “beloved”, earthly “spouses” of Christ, and as writers, having gained the right to speak in the masculine culture of the late Middle Ages.

Acknowledgements. The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 19-78-10100, <https://rscf.ru/project/19-78-10100/>) at the A.M. Gorky Institute of World Literature of the RAS.

Key words: women's lyrics, Christ the beloved, the problems of subjectivity, femininity.

For citation: Kuznetsova, E.V. *Obraz Khrista-vozlyublennogo i problematika subjektivnosti v zhenskoy lirike Serebryanogo veka* [The Image of Christ the Beloved and the Problems of Subjectivity in the Women's Lyrics of the Silver Age]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 51–66. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024634-3

Писательницы, к творчеству которых мы сегодня обратимся, создавали не только поэзию. Среди их наследия проза, критика, драматургия, жизнеописания святых, богословские трактаты и другие жанры, но именно лирика будет в фокусе нашего внимания, так как в силу родовых особенностей играет ведущую роль в процессе самопознания личностью своего “я” и конструирования его проекции в художественном тексте.

Проблема субъектности в женской лирике Серебряного века стояла очень остро, так как гендерный порядок предшествующей эпохи был маскулинным, а значит только мужское “я” априори было полноценным (субъектным) и имело отработанные формы и способы репрезентации в художественной литературе, а женское “я” таких форм отображения практически не имело. Однако женское творчество развивалось очень бурно, особенно на рубеже 1910-х годов: “Женская лирика является одним из достижений того культурного труда, который будет завещан модернизмом – истории”, – писал Ин. Анненский в статье “О современном лиризме” в 1909 г. [1, с. 333]. А значит столь же бурно шел поиск способов достижения авторской субъектности как в лирике, так и в прозе. Несмотря на яркий успех многих писательниц (З. Гиппиус, М. Лохвицкая, Н. Тэффи, позднее А. Ахматова и М. Цветаева), выступление женщины в качестве творца, производящего культурные ценности, воспринималось в социуме начала XX в. неоднозначно и противоречиво, встречало сопротивление ряда критиков

и литераторов-мужчин. Продвижение многих писательниц на литературной арене было настоящей борьбой, завершавшейся порой подлинными трагедиями (например, самоубийства поэтессы Надежды Львовой и романистки Анны Мар, затяжная депрессия и практически уход из творчества Александры Мирэ и Елизаветы Дмитриевой).

Причина этого, помимо личных обстоятельств, заключается еще и в том, что на рубеже XIX–XX вв., несмотря на ряд подвижек в общественном сознании, все еще преобладали многочисленные стереотипы и нормативы, касающиеся приемлемого и неприемлемого в женском творчестве (темы, проблемы, типы героинь и т.д.). Например, совершенно невинные по нынешним меркам стихи Мирры Лохвицкой или Марии Закревской-Рейх критики упрекали в непристойности. А за роман “Женщина на кресте”, поднимающий темы мазохизма и лесбийского влечения, Анну Мар подвергли общественному ostracism. Как пишет К. Эконен, для андроцентричного общества характерны “бинарное и комплементарное противопоставление полов”, “нейтральность” маскулинной и “маркированность” фемининной категорий. Иными словами, маскулинное отождествляется с общечеловеческим, а фемининное – это сугубо женское, при этом фемининное не функционирует самостоятельно, но лишь вместе с категорией маскулинного, стоящей к ней в оппозиции [2, с. 29–30]. Нормативными образами маскулинности являются патриархальные архетипы защитника, воина, кормильца, главы

семьи (рода), правителя; с точки зрения способности к творческому процессу стереотипно представление о маскулинности как начале активном, созидающем (гений, мастер, Орфей, Данте и т.д.). Нормативная фемининность включает в себя образы матери, жены, невесты (девы), хозяйки; в сфере искусства она воспринималась как начало пассивное, вдохновляющее на творение, но не имеющее собственных творческих сил (муза, Беатриче, Галатея, Офелия и т.д.).

Итак, доминирование андроцентризма предписывало женскому началу (и его реальным носительницам) пассивность и порождало глубокое противоречие: *отказ от пассивности означал утрату женственности, а сохранение женственности означало отказ от способности действовать и творить*. Осознав ущербность подобных представлений, многие талантливые представительницы эпохи модернизма предприняли попытки выйти из этого ограниченного положения, что породило кризис самоопределения и распределения ролей между полами. Н. Бердяев описал эти изменения следующим образом: “Женщина как бы уже не хочет быть прекрасной, вызвать к себе восхищение, быть предметом любви, она теряет обаяние, грубеет, заражается вульгарностью. Женщина не хочет быть прекрасным творением божьим, произведением искусства, она сама хочет создавать произведения искусства. Это глубокий кризис...” [3, с. 27]. Приведенная цитата доказывает тот факт, что женская активность и субъектность воспринимались как утрата внешней привлекательности и душевной деликатности.

Понимали это конфликтное положение дел и сами женщины. Критик Е. Колтоновская в очерке “Женское (Вместо предисловия)”, предварившем ее сборник статей “Женские силуэты: (Писательницы и артистки)” (1912), соглашается с немецким философом Отто Вейнингером, что женское начало от природы пассивно, а женское творчество уступает в силе мужскому, однако оно может “иметь самобытную, ярко очерченную физиономию” и реальная женщина может быть наделена мужскими креативными способностями. Но их реализация непременно приведет ее к внутреннему надлому: «Отыскав в себе ростки творчества и мужские свойства, а иногда и стараясь приблизить свою психику к мужской, ей так легко подавить и обесцветить собственную природу, утратить оригинальность... Каковы же, в таком случае, окажутся результаты “творчества”? Стоит ли о нем хлопотать? <...> А с другой стороны, разве те крохи творчества, которые в нее чудом вкраплены, не имеют права жить, законодательствовать и

по-мужски деспотически требовать себе всевозможных жертв? <...> Зачатки борьбы двух противоположных начал — пассивного статического и динамического творческого — есть в каждой женщине. Чем одареннее женщина, тем сильнее должна быть эта борьба, по характеру своему роковая. <...> И потому исход борьбы чаще всего оказывается для женской индивидуальности фатальным» [4, с. 197].

Все вышеназванные особенности представлений о фемининном и маскулинном сделали чрезвычайно важным художественную проекцию автора-женщины в тексте, образ лирического “я”, а также образ “другого”, лирического “ты”. Как пишет финская исследовательница женского творчества М. Рюткёнен, «с помощью формы первого лица единственного числа человек может чувствовать себя цельным и осознающим субъектом. Однако субъектность может сформироваться только в отношении к другому, т.е. к местоимению “ты”» [5, с. 11].

В женской поэзии XIX в. и у части авторов русского Серебряного века чаще всего роль “ты” выполняет фигура “возлюбленного” (М. Лохвицкая, Н. Львова, М. Цветаева, А. Ахматова и др.). Но у некоторых авторов образ возлюбленного и адресата лирики претерпевает интересные изменения. Он либо практически исчезает, уходит на второй-третий план, либо замещается *образом Христа*, в котором переплетаются черты романтического возлюбленного и мистического Абсолюта. Выскажем гипотезу о том, что необходимость обретения онтологически субъектной позиции в творчестве сделала невозможной для ряда поэтесс традиционную любовную лирику, в которой лирическая героиня (возлюбленная), как правило, находится в зависимом, детерминированном положении, ее судьба решается мужчиной и определяется его действием или бездействием. Земной возлюбленный, символизирующий патриархальную власть мужчины, теряет свою актуальность как источник творчества. Однако совершенно отказаться от объекта любви и адресата лирики было проблематично, так как в таком случае сузился тематический и эмоциональный диапазон стихотворных произведений. В связи с этим, образ Христа оказался подходящим заместителем на роль возлюбленного. Помимо прочего, подобная “подмена” уже имела место ранее, а именно в культуре католической мистики, запечатленной в сочинениях таких женщин-подвижниц, как св. Тереза Авильская и св. Екатерина Сиенская.

По этому пути пошли и некоторые мужчины-поэты (Вл. Соловьев, А. Блок, А. Белый, С. Соловьев),

поставившие на место земной возлюбленной Прекрасную Даму, Софию Премудрость Божию, Деву Радужных Ворот и т.д., мифическую героиню гностического мифа или обобщенную философскую категорию Вечной Женственности, а в некоторых произведениях А. Блока и Н. Гумилева речь идет и о влюбленности в Деву Марию. Безусловно, и женская, и мужская лирика русского модернизма отразили общие мистические настроения времени. Но в мужском творчестве построение *образа идеальной возлюбленной* скорее продолжало романтические тенденции начала XIX в. и не было связано с проблематикой авторской субъектности, не меняло уже устоявшуюся ролевую модель спасителя, освободителя, рыцаря и т.д. В женской лирике Христос-возлюбленный в качестве объекта самых сильных чувств позволял, с одной стороны, реализовать поведение смирения и подчинения Абсолюту без ущерба для гордости и без опасения, что за этим последуют агрессия, предательство или унижение. С другой стороны, его надмирность, физическое бездействие на уровне быта и ежедневных событий, недоступность и непостижимость позволяли реализовать поведение служения, отчасти даже какой-то материнской заботы: украшать иконы, шить покрыва, омывать церковные статуи, молиться со слезами на глазах и т.д. Таким образом, возлюбленный превращался в объект, а любящая женщина — в субъект действия.

Обратимся сначала к лирике Зинаиды Гиппиус (1869–1945), которая является первопроходцем для многих новшеств в женском творчестве. Для большей части ее стихотворений характерен мужской лирический субъект, а объект или адресат предстает гендерно неидентифицированным, так как отсутствует грамматическое обозначение мужского или женского рода в глаголах прошедшего времени или в указательных местоимениях: та или тот, которая, который... Однако можно выделить некоторые тексты, где образ “другого”, объекта любви, представлен весьма ярко. В таких текстах присутствуют как маркеры романтической традиции (роковая любовь), так и новые символистские черты (попытки проникнуть в ирреальное). Стихотворение “Молитва” 1897 г. строится как подобие страстной молитвы, обращенной к Богу:

Тени луны неподвижные...
Небо серебряно-черное...
Тени, как смерть, неподвижные...
Живо ли сердце покорное?

Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.

Жизни мне дал унижение,
Боль мне послал непонятную...
К Давшему мне унижение
Шлю я молитву невнятную.

Сжался, о Боже, над слабостью
Сердца, Тобой сотворенного,
Над бесконечно слабостью
Сердца, стыдом утомленного.

*Я — это Ты, о Неведомый,
Ты — в моем сердце, Обиженный,
Так подними же, Неведомый,
Дух Твой, Тобою униженный,*

Прежнее дай мне безмолвие,
О, возврати меня вечности...
Дай погрузиться в безмолвие,
Дай отдохнуть в бесконечности!.. [6, с. 97]

Обобщенно-символистское рассуждение о душе, изъятая из мрака небытия, и о ее способности любить и мыслить (первые три четверостишия) сменяется страстным призывом к Христу (заключительные три четверостишия), содержащем нотки отношения к Абсолюту как к возлюбленному: “*Я — это Ты*”; “*ты — в моем сердце*”. Конечно, образ Христа-возлюбленного в данном произведении только намечается, можно сказать, что Гиппиус не переходит за грань религиозного чувства. Это стихотворение отражает важные темы и мотивы ее поэзии: мучительные размышления о смерти и небытии, связанные в один эмоциональный комплекс с переживанием любви к Богу и одновременно с ощущением богооставленности. По мнению А. Пайман, «поэзия Гиппиус воспевает любовь и смерть. Любовь к Богу или мысли о Боге — везде; любовь эта — настойчивая и как бы виноватая. <...> Это стремление к восстановлению связи с забытым Богом (в поэзии Гиппиус это называется “требование чуда”) и есть “главное” в “новом религиозном сознании” русского серебряного века» [7, с. 47, 141].

Другие поэтессы были откровеннее в выражении влюбленности в Христа. Мирра Лохвицкая (1869–1905), которую современники считали провозвестницей чувственной любви в русской поэзии, русской Сафо, посмевавшая быть в стихах ультраженственной, не отказывается от образа традиционного возлюбленного, который предстает в ее лирике в виде прекрасного духа, рыцаря, Лионеля и т.д. Но она создает и ряд стихотворений, пронизанных сильными чувствами к Христу и скользящих по грани между любовью божественной и романтической. Стихотворения “Искание Христа”, “Спящая” и “Любовь совершенная” написаны от первого лица, образ лирической героини не содержит каких-либо конкретных примет, он обобщен и представляет собой

тип экзальтированной девушки, центр духовного бытия которой (даже после смерти) фиксирован на переживании любви к Христу и других религиозных чувств (освобождения, чистоты, парения, умиления и т.д.). Процитируем стихотворение “Искание Христа”, отражающее этапы становления веры-влюбленности от детства к зрелости:

Когда душа была чиста,
Когда в возвышенных стремленьях
Искала пламенно Христа, —
Он мне являлся в сновиденьях. <...>

Потом, казалось, во мне
Иссякли добрые начала.
Ни наяву, ни в мирном сне
О небесах я не мечтала. <...>

То был ли бред?.. То был ли сон?..
Иль образ призрачно-туманный?
Но мне опять явился Он,
Небесной славой осиянный!

Лучи нетленного венца
Лик дивный кротко озаряли,
И очи благодать без конца
И милосердие являли.

С тех пор тоски и страха нет.
Что жизни гнет и мрак могилы?
Когда надежды блещет свет,
Любиль и верить хватит силы! [8, Т. 1, с. 331]

Период детской наивной веры сменяется забвением (отречением), а во взрослом возрасте Христос снова является в виде прекрасного и милосердного мужского образа, любовь к которому спасает от тягот бытия и от страха смерти (“Что жизни гнет и мрак могилы?”).

В загадочном стихотворении “Спящая”, производящем фольклорный общеевропейский сюжет спящей красавицы, перед читателем возникает странный амбивалентный образ прекрасного небесного “Жениха” “в одежде странника святой / с певучей арфой золотой” [8, Т. 3, с. 19], который почему-то наделен черными крыльями. Он старается воскресить спящую в стеклянном гробу героиню, выполняя роль идеального возлюбленного и сказочного принца-спасителя, суженого:

В сиянье бледном вокруг чела,
С крылами, черными, как мгла.
Вот Он простер благую длань, —
Вот властно молвил мне: “Восстань!” [8, Т. 3, с. 20]

Однако воскресения не происходит, героиня продолжает спать и видеть сны. Возможно, подобное развитие сюжета раскрывает идею ложного Христа-спасителя, Дьявола или Демона, явившегося в его обличии (черные крылья выступают опознавательным знаком), но не способного выполнить

его функцию, обмануть и воскресить спящую душу героини, которая откликнется только на зов подлинного Христа. Мы видим контаминацию в образе идеального возлюбленного целого ряда культурных архетипов: сказочного принца, Демона и Христа¹.

Откровеннее тема влюбленности в Бога выражена в двух стихотворениях Лохвицкой, объединенных *образом монахини*. Средневековая монастырская культура, предполагавшая заточение (добровольное или подневольное) молодых женщин в монастыре, привела к развитию психологического комплекса экзальтированной чувственной влюбленности в Господа, который был зафиксирован в видениях и откровениях таких известных подвижниц церкви, как св. Тереза Авильская и св. Екатерина Сиенская. Они считали себя земными супругами Христа, описывали красочные видения, в которых Господь являлся им, ласково разговаривал, брал за руку и называл своей избранницей². Подобные заявления,

¹ Можно также увидеть в этом стихотворении Лохвицкой отдаленное отражение мифологического сюжета о спящей валькирии Брунгильде, которую смог разбудить Зигфрид. Благодаря опере Р. Вагнера “Зигфрид” (1876) из цикла “Кольцо Нибелунга” этот сюжет обрел особую популярность в культуре русского модернизма. В первой сцене третьего действия этой оперы происходит еще одно пробуждение: бог Вотан (Один) под видом странника (!) приходит к пещере Эрды, богини судьбы и мудрости, и будит ее, чтобы узнать, как ему изменить свою судьбу (снять проклятие и избежать гибели). Но Эрда не может ему этого поведать и снова погружается в сон. (Вагнер Р. Зигфрид. Опера в трех действиях (Либретто) [9].)

² Свой опыт богообщения выдающиеся женщины-монахини описали в ряде сочинений. Св. Тереза Авильская сочиняла сонеты, проникнутые любовью к Богу, и оставила после себя автобиографию “Жизнь”, написанную простым и логичным языком, заложившим основы испанского литературного языка. Ее жизнеописание было весьма полярным произведением в образованных литературных кругах русского символизма, особенно среди женщин-писательниц. Через увлечение испанской святой прошли Ася Тургенева, Аделаида Герцык, Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак) и др. Подробнее см.: [10, с. 194–221]; [11, с. 161–179]. Св. Екатерина Сиенская прославилась своим сочинением “Диалоги о Провидении Божьем”. Ее рассказы о мистическом союзе с Богом послужили основой для создания иконографического сюжета христианской религиозной живописи “Мистическое обручение святой Екатерины”, сокр. “Обручение святой Екатерины”. Этот сюжет известен с XIV в. и встречается на картинах многих европейских живописцев. Св. Екатерина изображается обменивающейся с Иисусом Христом обручальным кольцом, что символизирует ее духовную связь с ним и то, что она стала “невестой Христовой”, то есть заключила мистический брак. Тема мистического брака связана еще и с именем другой св. Екатерины, египетской великомученицы III в. н.э., которая по преданию также имела видение, в котором Иисус вручил ей свое кольцо и назвал своей невестой. Св. Екатерина Сиенская сознательно провела параллель со своей предшественницей, в честь которой

несомненно, граничили с ересью, но католическая церковь сочла их безвредными, и мистическая чувственность стала отличием католицизма от православия. Стихотворение Лохвицкой “В монастыре” (1890) отражает психологию монашеской эротизированной влюбленности в Бога, который ради избежания обвинений в нецеломудренности и богохульстве скрыт под образом “мотылька”:

Вечный холод и мрак в этих душных стенах,
Озаренных сияньем лампад,
И вселяет невольню таинственный страх
Образов нескончаемый ряд...

Раз, весной, вместе с лунным лучом, *мотылек*
В мою темную келью впорхнул;
Он уста мои принял за алый цветок
И лобзаньем к ним жадно прильнул.

С этих пор я не знаю, что случилось со мной...
Будто что-то припомнила я...
Все мне чудится сад, освещенный луной,
Все мне слышится песнь соловья...

И забыться нет сил, и молиться нет слов...
Я нема пред распятым святым...
О, сорвите с меня этот черный покров,
Дайте волю кудрям золотым!..

Ах, зачем родилась я не птичкой лесной, —
Я в далекий умчалась бы край,
И заботы, и радости жизни земной
Заменили б потерянный рай! [8, Т. 1, с. 85]

Обратим внимание на то, что монастырь описывается как мрачная тюрьма, темный склеп, место заточения и страха. Героине кажется, что “образов нескончаемый ряд” взирает на нее с осуждением, она ощущает свою греховность, несоответствие требуемой чистоте и святости. Земные помыслы молодой монахини реализуются в поцелуе мотылька (эквивалент божественного лобзания), который зажигает в ее сердце типичные (даже клишированные) литературные образы романтической любви: освещенный луной сад и пение соловья. Немота героини перед святым распятием может быть интерпретирована как влюбленность в Христа или наложение на его образ образа земного покинутого возлюбленного. Кульминацией любви становится стремление к бунту и свободе, выраженное в обнажении головы (женские волосы всегда считались слишком соблазнительными и потому греховными, подлежащими сокрытию).

была крещена, и воспроизвела эпизод заключения мистического союза в собственной биографии. Мистический брак св. Терезы Авильской был явлен иначе — в акте пронзения ее сердца божественным копьем, что нашло свое отражение в знаменитой статуе итальянского скульптора Дж.Л. Бернини “Экстаз Святой Терезы”.

Стихотворение “Св. Екатерина” (1892) самим заглавием указывает на источники своего лирического сюжета, на прототипы описываемой модели поведения — влюбленности в Христа — фигуры египетской великомученицы святой Екатерины Александрийской (287–305) и итальянской святой Екатерины Сиенской (1347–1380). Это произведение полнее всего раскрывает образ идеального возлюбленного, который не может быть обретен на земле:

“Воздвигла я алтарь в душе моей.
Светильник в нем — семь радуги огней.
Но кто войдет в украшенный мой храм?
Кому расцвет души моей отдам?”

Да будет он — увенчанным челом —
Прекраснее, чем был Авессалом!
Да будет сердцем, тихим — как заря,
Светлей Давида, кроткого царя!

Да мудростью и славой будет он
Стократ мудрей, славней, — чем Соломон!
Ему расцвет души моей отдам.
Пред ним возжгу мой чистый фимиам”.

И глас провеял, благостен и тих:
“На небесах — *предвечный твой Жених!*
Он даст тебе венец нетленных роз.
Он весь — любовь. Его зовут — Христос”. [8, Т. 3, с. 58]

Самым красивым, добрым, кротким и умным мужчиной может быть только Иисус, а значит только он достоин возвышенной любви и только он может одарить подобной совершенной любовью в ответ. Сюжет стихотворения воспроизводит легенду, согласно которой св. Екатерина Александрийская (287–305 н.э.) отличалась выдающейся красотой, умом и добродетелью, а также была знатна и богата. По достижении брачного возраста ее решили выдать замуж, но она заявила, что выйдет замуж только за того, кто превзойдет ее по всем этим качествам. Мать Екатерины, тайная христианка, отвела ее к отшельнику, который поведал девушке о подобном прекрасном юноше, равного которому нет во всем мире, намекая на Иисуса и вручив ей икону с Девой Марией и младенцем. Вскоре отшельник-монах крестил св. Екатерину, и в ночь после крещения она пережила видение, в котором попала на небеса и обручилась с Христом, став его избранницей³.

³ Данный сюжет относится к полуфольклорным сказаниям, созданным спустя несколько веков после мученической гибели св. Екатерины через отсечение головы. Возможно, они возникли в момент становления культа св. Екатерины и обретения ее мощей около 800 г. на Синайском полуострове, где сейчас находится ее монастырь. В самых древних житиях подобных подробностей не сообщается. Впервые эта легенда возникает в английском переводе “Мученичества св. Екатерины” в 1438 г. [12].

Сюжет обручения с помощью кольца позднее уже в XIV в. воспроизвела св. Екатерина Сиенская, которая утверждала, что пережила мистический опыт богообщения и стала земной супругой Христа в 1367 г. после страстной молитвы.

В стихотворении “Любовь совершенная” Лохвицкая иносказательно изображает любовь к Богу в виде женского образа в “ореоле святой красоты”. Слияние души с Христом (совершенной любовью, ибо Иисус есть любовь) достижимо только в момент смерти:

И лишь в смертный единственный час
Мы усталую душу сольем
С той, что вечно сияла для нас
Белым снегом и чистым огнем. [8, Т.3, с. 26]

Итак, в творчестве Мирры Лохвицкой через аллюзии на житие св. Екатерины Александрийской и св. Екатерины Сиенской тема любви к Богу и образ Христа-возлюбленного обретает легкий, но уловимый оттенок романтической страстной влюбленности, происходит наложение образа супруга-избранника на образ Абсолюта.

Следующий шаг делает Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак) (1887–1928), которая создает сознательно провокационные стихотворения и культивирует *мотив греховности*, отличающий ее страсть к Христу. В стихотворениях Дмитриевой, взбудораживших литературный Петербург в 1909 г., активно развивается мотив преступной влюбленности в Иисуса как главной героини (мистифицированного автора) всех стихов этого цикла, прекрасной католички с червонными косами, так и других героинь в ролевых стихотворениях. В произведении “Распятые” появляются мотивы колдовства. Сгорающая от безответной, скрывающейся ото всех, сладострастной любви к Христу героиня хочет оживить его скульптурный образ, установленный в храме. Таким образом, влюбленная монахиня превращается в лирике Дмитриевой в ведьму, показывая сколь тонка грань между служением Богу и служением Дьяволу:

<...>
Пусть монахи бормочут проклятия,
Пусть костер соблазнившихся ждет, —
Я пред Пасхой, весной, в новолуние,
У знакомой купила колдунью
Горький камень любви — астарот.
И сегодня сойдешь ты с распятия
В час, горящий земными закатами. [13, с. 87]

Безумной, болезненно-надрывной любовью к Христу пронизано также стихотворение “Умершей в 1781”. Безымянная героиня этой лирической пьесы умирает от невыносимой любви к Богу, но в момент смерти испытывает

настоящий “пожар”, “угар любви”, что делает ее кончину романтически прекрасной, несмотря на то, что эта кощунственная любовь вызывает гнев Бога. Экстаз любви умершей предшественницы, ее грех и безумие словно по наследству передаются и лирической героине Дмитриевой:

Во мне живет мечта чужая,
Умершей девушки мечта.
И лик Распятого с креста
Глядит, безумьем угрожая,
И гневны темные уста. <...>
И голос мой поет, как пламя,
Тая ее любви угар,
В моих глазах — ее пожар,
И жду принять безумья знамя —
Ее греха последний дар. [13, с. 87]

Стихотворение Дмитриевой “Твои руки” — лирическая иллюстрация к отрывку из книги св. Терезы Авильской “Жизнь” (“Моя жизнь”), где она описывает свое любование руками Христа и восхищается их божественной красотой. Можно сказать, что из всех стихотворений, созданных под именем Черубины де Габриак, это произведение наиболее открыто проявляет свои взаимосвязи с литературным наследием Терезы Авильской:

Эти руки со мной неотступно
Средь ночной тишины моих грез,
Как отраднo, как сладко-преступно
Обвивать их гирляндами роз.

Я целую божественных линий
На ладонях священный узор...
(Запевае т далеких Эриний
В глубине угрожающий хор.)

Как люблю эти тонкие кисти
И ногтей удлиненных эмаль.
О, загар этих рук золотистой,
Чем Ливанских полудней печаль.

Эти руки, как гибкие грозди,
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них. [13, с. 74]

Христос, сошедший с распятия и предстающий в образе земного возлюбленного, его прекрасные загорелые руки с длинными эмалевыми ногтями, которые можно целовать и увивать цветами, — все это объективизирует Бога, представляет его в качестве эстетического объекта. На греховность этой любви указывает образ Эриний, древнегреческих богинь возмездия, хор которых грозит лирической героине. Отметим, что мотив кары за преступную любовь отсутствует в подлиннике. Тереза Авильская описывает свое любование руками Христа без тени сомнения в невинности своего восхищения: “Однажды, когда я молилась, угодно Ему было показать мне руки свои...

Их красота была такова, что я не могу ее выразить никакими словами... А немного дней спустя я увидела и божественное Лицо Его” [14, с. 51]. Обращаясь к примеру испанской писательницы, Дмитриева создает язык для описания возвышенной мужской красоты, который был слабо разработан в русской поэзии в отличие от языка описания женской привлекательности. Поэтесса опирается на писательский опыт святой Терезы и в целом на традицию католического мистицизма, объективизировавшего Бога: “Католическая мистика полна томлениями по божественному, оставляет божественное вне человека как предмет подражания и страстного влечения. Отсюда – подражание страстям Господним, стигматы и проч. Этот тип мистического опыта дан уже у бл. Августина, который разговаривает с Богом, как страстный любовник, и для которого *божественное – объект, а не основа*” [15, с. 279] (курсив мой. – Е.К.). Но если испанская монахиня затрудняется подобрать слова для описания красоты Иисуса Христа, то Дмитриева словно восполняет этот пробел и нанизывает сравнения в стиле восточного красноречия. Одновременно с этим она укрепляет собственную активную субъектную позицию, которая не была присуща в начале XX в. женщине как автору априори. Из объекта описания, подчиненного мужскому оценивающему взгляду, женщина сама превращается в описывающего субъекта.

Итак, Дмитриева добавила средневекового мистицизма и страстности к образу-мистификации Черубины де Габриак, красавицы, поэтессы и католички, пишущей чувственные любовные стихотворения, обращенные к Христу. При этом она сделала акцент не на святости этого влечения, а на его порочности, предосудительности. Тем самым испанская святая приобрела черты женщины-вамп, колдуньи, соблазнительницы и искусительницы, характерные для образа женщины эпохи “конца века”, для амбивалентной феминности этой эпохи (см. подробнее про антиномичную феминность: [16, с. 227–237]).

Аделаида Герцык (1874–1925) в своей ранней лирике также отказывается от образа традиционного возлюбленного, но зато создает религиозные стихотворения, в которых на фигуру Христа переносятся традиционные сюжеты любовной лирики: ожидание свидания – свидание (встреча) – воспоминания о свидании. Лирическая героиня ожидает пришествия Бога так же трепетно, как невеста ждет своего жениха, представляет свою встречу с ним, мечтает о нем, взывает к нему или вдохновенно описывает уже свершившееся

судьбоносное свидание. Обратимся к самым наглядным примерам и процитируем стихотворение “Ночью глухую, бессонную...” 1908 г.:

Ночью глухой, бессонною,
Беззащитно молитвы лепеча,
В жребий чужой влюбленная –
Я сгораю, как тихая свеча.
Болью томясь неплодною,
Среди звезд возлюбя только одну,
В небо гляжусь холодное,
На себя принимая всю вину.
Мукой своей плененная,
Не могу разлюбить эту мечту...
Сердце, тоской пронзенное,
Плачет тихо незримо Христу. [17, с. 71]

Стихотворение представляет собой намеренно многозначный текст, допускающий различные трактовки. Представляется возможным прочитать данное произведение и в качестве вариации на тему святой Терезы и всего комплекса закрепленных за ее образом душевных переживаний: тоски по несбыточному, душевных мучений, происходящих из-за любви к Богу, не находящей реализации и ничем не разрешающейся, но при этом сладостной и желанной. Лирическая героиня Герцык столь же набожна и предана Христу, которого она сравнивает со звездой и иносказательно признается ему в любви: “Среди звезд возлюбя лишь одну...”. От этой запретной любви она сгорает, как свеча (слова с корнем “люб” трижды повторяются на протяжении этого небольшого текста), тайно завидуя судьбе своей предшественницы, которая удостоилась чести стать земной супругой Христа (намек на это можно усмотреть в строке “В жребий чужой влюбленная...”). Образ сердца, *пронзенного* тоской, можно толковать как аллюзию на образ сердца, *пронзенного* копьем Херувима из жизнеописания святой Терезы.

Особую молитвенно-жертвенную интонацию лирики Герцык почувствовал Б. Зайцев: “Для меня несомненно, что А.Г. принадлежала к очень древнему типу: первохристианских мучениц, средневековых святых; св. Цецилия, Катерина Сиенская, св. Тереза – ее великие сестры” [18, с. 518]. С Зайцевым солидарна современная исследовательница творчества сестер Герцык Н. Бонецкая, указывающая на дух мистицизма, присущий лирическим откровениям поэтессы 1908–1912 гг.: “От природы Аделаида была мистиком, ищущим реального личного богообщения; однако яркие религиозные переживания, насколько мы можем судить, в протестантские рамки не вмещаются, и по своему религиозному складу поэтесса была ближе всего к католицизму” [20, с. 190].

В стихотворении 1911 г. “Что это – властное, трепетно-нежное...” мотив романтической и сладомерно-пугающей любви к Христу выражен более отчетливо:

Что это – властное, трепетно-нежное,
Сердце волнует до слез,
Дух заливает любовью безбрежную,
Имя чему – Христос? <...>
Если бы с Ним сочетаться таинственно,
Не ожидая чудес,
Не вспоминая, что Он – единственный,
Или что он воскрес!
Страшно, что Он налагает страдание,
Страшно, что Он есть искус...
Боже, дозвожь мне любить в незнании
Сладкое имя – Иисус. [17, с. 111–112]

Можно было бы подумать, что перед нами поэтическое описание христианской светлой любви к Богу, если бы не странные слова “с ним сочетаться таинственно”, “он есть искус”, “сладкое имя”, которые окрашивают любовь героини в тона земной, романтической страсти и перекликаются с одним отрывком из жизнеописания святой Терезы: “Вдруг овладевает мной такая любовь к Богу, что я умираю от желания соединиться с Ним... и кричу, и зову Его к себе... *Мука эта такая сладостная*, что я не хочу, чтоб она когда-либо кончилась, происходит от желания умереть и от мысли, что избавить меня от муки не могло бы ничего, кроме смерти, но что убить себя мне не дозволено” [14, с. 49] (курсив мой. – Е.К.). Возможно, в обобщенном виде данное стихотворение воспроизводит и сюжет мистического брака св. Екатерины Александрийской и св. Екатерины Сиенской.

В стихотворениях 1911 г., написанных в Выропаевке и составляющих “Выропаевский цикл”, а также в произведениях, примыкающих к нему по времени создания, многократно разворачивается один и тот же сюжет: лирическая героиня страдает от неразделенной любви к Христу, который иносказательно называется в некоторых стихотворениях “друг”, “князь мой”, “жених”. Она то чувствует его присутствие рядом с собой, то ощущает себя одинокой и лишенной божественной благодати из-за своей преступной страсти:

<...> Дозволь, чтоб песнь моя казалась мне забавой,
А дух сгорал в любви к Тебе – дозвожь!
Пока не тронешь Ты души моей бесправой,
Слова немеют в тягости неволь,
А в сердце стыд и горестная боль. [17, с. 121]

Герцук в разных вариантах спрашивает у Христа позволения любить его, потому что эта любовь, более пламенная и страстная, нежели обычное христианское чувство к Богу, является не только содержанием ее духовной жизни, но и

залогом ее творческой самореализации. Без любви к Христу поэтесса не может обрести дар слова: “Пока не тронешь Ты души моей бесправой, / Слова немеют в тягости неволь...”. Таким образом, право высказывать свою любовь означает для молодой поэтессы возможность высказываться вообще, писать, творить, выражать себя. Эта любовь снимает с ее уст немоту.

Обращаясь к анализу данного цикла, Н. Бонцкая дает ему образное, но весьма точное определение – “роман с Богом”, подразумевая под словом “роман” период страстного увлечения чем-либо: книгой, автором, человеком... [20, с. 186]. Именно в таком значении употребляла это слово сама писательница в серии эссе “Мои романы”. В этом же 1911 г. Герцук пишет стихотворение “Я хочу остаться к Тебе поближе...”, к которому предпосылает эпиграф из не переведенного на русский язык романа Ж.-К. Гюисманса (“Les foules de Lourdes” – “Толпы Лурда” или “Лурдские толпы”)⁴ на французском языке, сопровождая его собственным переводом на русский: *«Были такие монашки, которых местные жители прозвали Божьими кокетками»* [20, с. 121]. Начальные строки стихотворения рисуют образ монахини, которая занимается рукоделием в монастыре (вышивает бисером), видимо, украшая какой-то священный покров для проведения богослужений или создавая оклад к иконе. При этом мысли ее уносятся далеко. Лирическая героиня видит себя избранницей Бога, его возлюбленной, сидящей подле его ног, наравне со святой Марией Магдалиной. Эту честь она заслужила своим смиреньем, которое смешивается с совершенно земным кокетством и любовной игрой: героиня наряжается для Иисуса Христа, надевает хитон в его любимых цветах, старается понравиться ему. Тем самым текст стихотворения оправдывает эпиграф. Напомним, что об увлечении сочинениями К.-Ж. Гюисманса упоминает в своей “Автобиографии” и Дмитриева. Таким образом, поздние романы французского писателя, наполненные католическим мистицизмом, религиозными ритуалами и жизнеописаниями святых, стали еще одним важным источником формирования образа влюбленной монахини в лирике русских поэтесс.

В сборнике автобиографических очерков “Мои блуждания” Герцук признается: “Были дни, когда таинственная волнующая любовь к Христу зацветала во мне. Мысль постоянно возвращалась к Нему. Внешний облик Его пленял воображение, я задерживалась на нем и не успевала проникнуть

⁴ Автор выражает благодарность О.А. Симоновой за помощь в поиске источника цитаты.

глубже, озариться святостью Его, Богу поклониться в Нем. <...> Меня чаровала темнота его притч и ответов, звучащих из иного мира, и мне не нужен был их смысл, — влекла тайна, которой Он облакал истину. Хотелось принять все, как священные иероглифы, чтить, как чудесную икону, и только облик Его — кроткий и печальный — нести в себе как высшую красоту. Но неясная мне самой воля и страх восставали во мне, запрещали мне любить Его. Как дерзаю я избрать прекраснейшее?» [17, с. 426] (курсив мой. — Е.К.). Данный отрывок многое поясняет в ее стихотворениях и транслирует тот же комплекс противоречивых переживаний: таинственная прелесть запретной любви и страх отдаться этому чувству, внутреннее табу, которое героиня не может отринуть, и сила обаяния личности Христа, которой она не может противостоять.

Рассмотренные выше тексты коррелируют с биографией св. Терезы опосредованно через общность сюжетно-мотивной схемы и эмоциональный настрой: пылкая влюбленность земной женщины в Христа. По мнению Н. Бонецкой, некоторые стихотворения Герцык можно принять за тексты, написанные восторженной католичкой, и «не случайно поэтессе был близок образ Терезы Авильской — великой святой Испании, чья мистика — пламенный эрос — так далека от “трезвенного” духа русских подвижников» [19, с. 187]. Исследовательница полагает, что “эротизм привился религиозности А. Герцык по причине ее вовлеченности в христианскую культуру Западной Европы” [19, с. 187].

Два сонета Герцык “Святая Тереза” и “Любовью ранена, моля пощады...” (1912) уже прямо отсылают к личности и сочинениям испанской монахини. Прочитав первый сонет:

О сестры, обратите взоры вправо,
Он — здесь, я вижу бледность Его рук,
Он любит вас, и царская оправа
Его любви — молений ваших звук.

Когда отдашь себя Ему во славу —
Он сам научит горестью разлук.
Кого в нем каждый чтит, кто Он по праву —
Отец иль Брат, Учитель иль Супруг.

Не бойтесь, сестры, не понять сказанья!
Благословен, чей непонятен Лик,
Безумство тайн хранит Его язык.

Воспойте радость темного незнанья,
Когда охватит пламень темноту,
Пошлет Он слез небесную росу. [17, с. 131]

Сонет написан в форме обращения св. Терезы к сестрам-монахиням и представляет собой пересказ ее видения. Внутренним взором она

видит Христа рядом с собой, прославляет его любовь и мудрость, призывает верить ему во всем, даже если послания его непонятны. Страстная любовь и полная преданность воле Христа выражены в этом произведении. К. Дилон пишет, что в религиозных мотивах своей поэзии и прозы Герцык-писательница выражала собственную теологию (“she explicates her personal theology”), не сводимую ни к лютеранству, ни к православию. Религиозные мотивы ее лирики отражают ее духовную жизнь. В стихотворении “Святая Тереза” Герцык как бы предоставляет право слова своей сестре-монахини и поднимает старые безответные вопросы, касающиеся того, как определить, идентифицировать Бога: “Отец иль Брат, Учитель иль Супруг” [20, с. 539].

Сонет “Любовью ранена, моля пощады...” написан в ином ключе и демонстрирует уже не столько духовную, сколько эротическую составляющую любви к Христу, он предваряется соответствующим эпиграфом из библейской “Песни Песней”: “Да лобзает Он меня лобзанием уст своих”:

Любовью ранена, моля пощады, —
Переступила я святой порог,
Пред духом пали все преграды —
Открылся брачный, огненный чертог.

И все отверзлось пред вратами взгляда,
Я зрела небеса в последний срок —
И встало темное виденье ада
И свет познания мне душу сжег.

А Он, Супруг, объемля благодатью,
Пронзая сердце огненным копьем —
“Я весь в тебе — не думай ни о чем!” —

Сказал. И в миг разлучного объятья
Прижал к устам мне уст Своих печать:
“Мужайся, дочь, мы встретимся опять!” [17, с. 131–132]

Сонет Герцык является еще одной стихотворной вариацией на тему шестой ступени экстаза св. Терезы, описывающей момент пронзания копьем ее внутренностей, чем ознаменовалось свершение небесного брака между ней и Христом. Отметим, что в стихотворении Герцык, в отличие от лирики Дмитриевой, не Херувим, а сам Христос поражает копьем сердце Терезы и затем целует ее. При этом в подлиннике, в книге Терезы “Жизнь”, нет указания на то, что пронзено было именно сердце. Автор употребляет обобщенное обозначение — “мои внутренности”. Но довольно быстро сложилась традиция считать, что копье поразило именно сердце божественной избранницы, даровав ей тем самым мистический опыт трансверберации. Паломникам, пришедшим поклониться мощам святой Терезы в город Альба-де-Тормес, даже показывают шрам, оставленный копьем

Херувима на ее сердце. В своей интерпретации эпизода из жизни испанской подвижницы Герцык делает акцент не на обретении внутреннего единства с Богом, освящении плоти Божественным Духом, а на прохождении страшной мучительной *инициации*, открывающей путь к познанию Ада, Рая и судьбы мира. И отныне героине предстоит нести этот груз познания до тех пор, пока она снова не встретится с Христом после своей смерти или даже только в момент его второго пришествия.

В процитированных сонетах Герцык наглядно реализуется идея полного растворения в Боге, полного принятия “другого” через страстную любовь к Христу и веру в него. Видимо, подобная самоотдача представлялась чрезвычайно привлекательной и была насущной потребностью для молодой поэтессы, но реализоваться в любви к земному мужчине она не могла. В обыденной жизни женщины эпохи модерна зачастую не было места для подобной любви или не находилось достойного объекта.

Г. Риц полагает, что Герцык в лирике последовательно позиционирует себя в общепринятой женской роли, но, “несмотря на это, остается вне характерной для того времени сексуальной драмы”, подчеркивая культ сестринства: “Я только сестра всему живому – / Это узналось ночью” [21, с. 11]. Анализируя далее стихотворения поэтессы из цикла “Полусапфические строфы”, немецкий исследователь заключает, что эрос у Герцык, “в отличие от символистов, не ведет к *Unio mistica*, мистическому союзу. Сублимация в высшее начало невозможна через его посредство...” [21, с. 26]. С данным заключением можно согласиться лишь отчасти. Конечно, поэзия Герцык более целомудренна, чем лирика многих ее современников, и идея сестринства не раз проговаривается в ее произведениях, но скрытый эротический подтекст процитированных нами стихотворений, особенно сонетов, напрямую связанных с рецепцией личности и откровений святой Терезы, нельзя отрицать. Немецкий исследователь совершенно верно отмечает, что важнейшей фигурой для женской самоидентификации становится для Герцык монахиня [21, с. 25], однако это не означает полную асексуальность ее поэзии и самоустранение из напряженных межполовых отношений. Опыт святой Терезы показывает, что в монашестве женщина может испытать эротически окрашенные переживания, воспринимаемые в высшем смысле как путь мистической любви и постижения Бога.

После 1912 г. образ святой Терезы уходит из творчества Герцык, как и сюжет любви к Христу, видимо, исчерпав свой художественный потенциал или же перестав соответствовать психологическим переживаниям поэтессы.

По своему лирическому пафосу поздние произведения Е. Дмитриевой 1920-х годов схожи с рассмотренными стихотворениями А. Герцык. Их объединяют мотивы смирения, покаяния, молитвы, самоотречения, образы божественного Жениха, ангелов, райского сада, а также представление о поэтическом творчестве как о монашеско-рыцарском служении и духовном подвиге. Стихотворения “Опять безжалостно и грозно...” (1921), “И Бога нет со мной, он отошел распятой...” (1922), “Мечом двусторонним пронзает Господь...” (1922), “Ты придешь, мой желанный Жених” (1922), “Вошла любовь – вечерний Херувим” (1923), “Где Херувим, свое мне давший имя...” (1925) варьируют уже прозвучавшие в стихотворениях, изданных под именем Черубины де Габриак, мотивы преступной любви, адресатом которой является Христос (или Херувим как его ипостась), греха, соблазна, зова плоти, мучительных наслаждений, переживаемых в воображении, душевной раздвоенности между Адам и Раем, Богом и Дьяволом. Следует отметить, что в некоторых текстах усиливаются эротические интенции и в несколько измененном виде разворачивается эпизод пронзания копьем из жизнеописания святой Терезы, только копье заменяется на меч:

*Мечом двусторонним
пронзает Господь,
и все воспаленней
изнемогает плоть...*

*Она, как мертвец простерта
под огненным мечом...
И грубый палец знак не стертый
клеймит плечо...*

*На алчущих губах неуголенной дрожью
еще горит порыв...
Но, стоны заглуша,
ее бойся и смиришь: к небесному подножью,
во тьме себя раскрыв,
омытая поднимется душа. [13, с. 154]*

В данном стихотворении налицо иная трактовка акта небесного брака: это не преступная страсть, а ритуал очищения, освобождения от земных грехов, позволяющий подняться к Богу и достичь Рая. При этом описание подобной инициации дано намного более физиологично, нежели в автобиографии Терезы Авильской: воспаленная плоть, алчущие губы, неуголенная дрожь, стоны... В поздних стихотворениях Дмитриевой греховность лирической героини

воспринимается иначе. Она демонстрируется не как привлекательная черта загадочной грешницы, а как проклятие плоти, как то, что душевно мучает, не дает вырасти над собой и поэтому должно быть преодолено, изжито через болезненный опыт “пронзения огненным мечом”. Но именно через телесную оболочку может осуществиться преобразование души, поэтому лексема “плоть” возникает в первом черверостишии стихотворения, а “душа” — в последнем.

Можно сказать, что в зрелом творчестве, как и в раннем, поэтесса выстраивает свою идентичность и субъектность, так же опираясь на мистико-религиозный опыт и привлекая соответствующую стилистику, но уже без наигранного маскарадного католицизма и образа католички с червонными косами. Подобные взгляды Дмитриева высказывает в металирическом стихотворении “Ненужные стихи, ненужная тетрадь...” (1925):

<...> Поэта светлый долг — как рыцаря обет;
Как латы рыцаря горит служенье наше,
И подвиг восприняв ценою долгих лет,
Придем мы к вечной чаше.

Я душу подняла как факел смоляной,
Но ветер налетел и пламя рвет на части...
Я Господа зову, идем к нему со мной.
Наш путь в Господней власти. [13, с. 173]

Показательно, что мужской субъект, которому соглашаются подчинить себя героини Дмитриевой и Герцык, это не земной возлюбленный, а Бог. Можно сказать, что поэтессы интересным образом используют андроцентристские установки своего времени: не отрицая в полной мере объектной позиции женщины, они заявляют о собственной исключительности, ставя на место субъекта (возлюбленного, учителя) Всевышнего. Можно сказать, что в религиозно-мистических устремлениях поэтессы находят опору, доказательство своего бытия в онтологическом смысле слова, при этом традиционное христианство оказывается переосмысленным в духе персональной теологии [22, с. 484]; [20, с. 539].

Елизавета Кузьмина-Караваева (Скобцова) (1891–1945), принявшая постриг и получившая впоследствии известность как мать Мария, также отразила в своем поэтическом творчестве образ Христа-возлюбленного. Лирическая героиня Кузьминой-Караваевой в ее дебютном сборнике “Скифские черепки” (1912) отличается двойственностью: в главном цикле “Курганная царевна” это дерзкая, смелая *воительница-язычница* и амазонка (“Потомок огненосцев-скифов, / — Я с детства в тягостном плену...” [23, с. 30]), а в следующем

цикле “Невзирающий” — *смирная христианка*, которая в самой глубине души остается несломленной, мстительной царевной степей. Однако также следует отметить стихотворения, в которых *мотив смирения* связывается с *темой любви* к новому христианскому Богу — только ему бывшая язычница готова поклониться. Схематично обрисованный в первом цикле образ утраченного земного “возлюбленного”, спящего в кургане “огненосца-скифа”, конкурирует с образом Христа, который занимает все больше и больше места в душе и помыслах героини. Эта внутренняя борьба двух вер и двух мироощущений, описанная с легким жертвенно-эротическим оттенком, отражена в стихотворении “Бесстрашна я, как в храме жрица...”:

<...> Смотрю я пристально и строго, —
Вот руку рок ко мне простер.
Иль жду я не царя, а бога,
Чтоб лечь на пламенный костер?

Мой бог, приди, как встарь, без гнева
И вознеси, победно строг,
Чтоб я — царевна, жрица, дева —
Могла истлеть у царских ног. [23, с. 33]

Если принять во внимание, что второй цикл сборника называется “Невзирающий” и повествует о перерождении скифской царевны и ее пути к христианской вере⁵, то можно говорить об определенном замещении фигуры слабого “возлюбленного” в сюжете о поединке с ним фигурой сильного монотеистического Бога. Только Богу оказывается способна подчиниться героиня, и уже метафорическая, а не реальная борьба язычницы с ним кончается ее моральным поражением. Героиня покоряется “новому царю”, Христу, и посвящает себя служению ему: “Освободившись от тоски, / Иду я — твой пророк” [23, с. 29], хотя периодически отрекается от этого призвания, не может забыть свою царицу-мать и “смолкший наш стан, освещенный кострами” (стихотворение “Царство-призрак”).

Таким образом, религиозная и социальная *амбивалентность героини (язычница / христианка, царевна / безымянная странница)* отчетливо проследывается в первом сборнике Кузьминой-Караваевой, хотя автор стремится к синтезу и снятию противоречий. Пройдя круг скитаний, душа лирической героини претерпевает обращение, утрачивая воинственность, маскулинность, энергичность, но обретая духовность. Она помнит о своих языческих корнях, но уже несет в себе зерна веры

⁵ О биографическом подтексте основных образов цикла “Невзирающий” см.: [24, с. 67–70].

в нового бога – Христа. Амазонка становится богоискательницей. Показательно, что путь обретения веры художественно раскрывается с помощью “любовного” треугольника (дева-воительница – скифский царь – Христос), который разрешается победой Христа: героиня обретает взамен смертного и несовершенного земного возлюбленного нового – божественного и вечного.

Все поэтические книги Елизаветы Кузьминой-Караваевой характеризуются отсутствием мужского “ты” и как таковой любовной лирики, хотя в жизни поэтессы испытала и страстную, и платоническую любовь (весьма схематичный и искусственный образ “возлюбленного” присутствует только в “Скифских черепках”, первом сборнике, но там же мы можем наблюдать его вытеснение образом Христа). Единственным “другим”, по отношению к которому лирическая героиня определяет саму себя, является Бог (“Жених”, “Садовник”, “Плотник”), который замещает традиционную фигуру “возлюбленного”.

Отражение идей и образов Кузьминой-Караваевой и в целом мотивов женской лирики 1910-х годов можно увидеть в ранней лирике Анны Барковой (1901–1974), поэтессы трагической судьбы. Ринувшаяся в революцию и примерившая на себя образ воина молодая женщина довольно скоро разочаровалась в ней по причине всеобщей бездуховности и лживости установившегося социального строя. Оказалось, что впитанная в детстве и юности культура Серебряного века ей гораздо ближе, чем революционный пафос, но старые идеалы (в частности, мистическая духовная связь с высшим началом) уже неуместны и невоплотимы в новом миропорядке, что породило мучительные противоречия в ее творчестве 1920-х годов, а позднее внутреннее несогласие вылилось в многолетнее лагерное заключение писательницы, не совпавшей со своей страшной эпохой.

В 1922 г. выходит сборник Барковой с характерным заглавием “Женщина”, в котором и образ воительницы-амазонки, мечтающей склониться на “подушечку нежную теплого счастья” (стихотворение “Амазонка”), и образ Христа-возлюбленного обретают новое пронзительное звучание. Это словно тени из прошлого, герои другой эпохи... Амазонка революции тоскует по любви к Богу, который освещал ее жизнь в детстве, но мучается от горького ощущения богооставленности, которое воспринимается читателем намного острее в поэзии 1920-х годов, создававшейся на фоне взрывающихся церквей, нежели в текстах рубежа XIX–XX вв., когда потерю живой связи с Господом переживала Зинаида Гиппиус.

Печальными размышлениями поэтессы о потерянном возлюбленном наполнен цикл “Христос” (1922), в заглавном стихотворении которого переплетаются религиозные и эротические мотивы:

*Он ко мне приходил,
Когда мой взор был ясен и чист.
По волосам рукой проводил
И был так нежен, легок, лучист.*

*А я мученицей кроткой была,
Касаясь божественных риз,
Я мечтала, что пантер тела
С моим телом гибко сплелись.*

*А он так нежно в мое сердце смотрел,
Так тихим светом был осиян,
Что мне легка была тяжесть гибких тел
И сладка боль кровавых ран.*

*А теперь в темноте моих глаз
Безнадежность нити безверья прядет.
И дух любви иступленной угас,
И лучистый Христос не придет. [25, с. 15]*

Экстаз божественной любви и дух “любви иступленной”, выраженной в образе пантер, наносящих кровавые раны, на первый взгляд, противопоставлены, разведены как земное и небесное. Но данную антиномию можно трактовать и как мнимую: эротизированная влюбленность в Христа, непозволительная для ортодоксально верующего человека, расщепляется, и ее чувственная проекция предстает в образе пантер, но по сути все стихотворение описывает не два разных типа любви, а одно сложное противоречивое чувство.

Истоки лирики Барковой и двойственность ее героини точно определил А.В. Луначарский, написавший предисловие к сборнику “Женщина”: “... какая богатая связь у этой дочери пролетариата между амазонкой в ней и *скорбной влюбленной*” [26, с. 3–4] (курсив мой. – Е.К.). В.Б. Зусева-Озкан отмечает парадоксальную на первый взгляд связь “воительницы у Барковой с *эсхатологически-утопической проблематикой символизма и софийным мифом*” [27, с. 622], а как мы уже упоминали в начале статьи, образ Христа-возлюбленного в женской модернистской поэзии является альтернативой идеальной мистической возлюбленной (Софии, Вечной Женственности и т.д.) в лирике русского младосимволизма. Образ воительницы у поэтессы, по мнению Зусевой-Озкан, связан с мотивом отказа от женственности, традиционной фемининной гендерной роли ради борьбы за новый мир, за высокую цель [27, с. 626]. Однако этот декларируемый отказ постоянно проблематизируется, вступает в противоречия с теми гендерными ролями и моделями поведения, которые были опробованы в культуре Серебряного века другими женщинами-писательницами (например,

Сафо, “жрица любви”, “женщина-ребенок” и т.д.). И прежде всего, “новая женщина” Барковой в ее дебютном сборнике характеризуется чувством мистической влюбленности в Христа, который отчасти замещает не названного по имени земного возлюбленного, погибшего “во вражеском стане”, а отчасти выступает и в более традиционной ипостаси защитника и заступника.

Подведем некоторые итоги. Образ Христа-возлюбленного встречается у целого ряда поэтесс, и мы можем говорить об определенной типичности, закономерности его появления. Мы затронули не все примеры его проявления, что вряд ли возможно в рамках статьи, но постарались остановиться на самых значимых, выстроив их в некой хронологической последовательности. Разрушая и перестраивая традиционные представления о фемининности, женщины-авторы разрушают и традиционные представления о любовной лирике, о “другом”, по отношению к которому они определяют свое “я”. В романтической традиции женщина является объектом любви и адресатом творческого послания, а ее возлюбленный — это субъект, тот, кому она подчиняется и кто ее воспеваает. Ради обретения собственного голоса и легитимности своего творчества на место романтического возлюбленного в женской лирике начала XX в. ставится Христос. Подчинение ему не лишает женщину-автора субъектности, а наоборот — позволяет доказать право на творчество. Об этом свидетельствует *мотив избранности* лирической героини, имплицитно соотносящей себя с такими святыми избранницами, как св. Тереза Авильская или св. Екатерина Сиенская, которые также прославились еще и как писательницы и обрели право слова в маскулинной культуре позднего Средневековья.

В лирике Зинаиды Гиппиус образ Христа становится идеальным, хотя и безответным собеседником, на время спасающим от ощущения богооставленности. Мирра Лохвицкая и Аделаида Герцык для конструирования модели поведения в социуме ищущей духовного развития женщины прибегают к образу монахини, посвятившей себя Христу, хотя и подвергают его достаточно глубокому переосмыслению. Для Лохвицкой монашеское служение — альтернатива мирской любви и еще один способ устремления в запредельное, нездешнее. Наверное, впервые именно в ее лирике в русской литературе религиозное чувство окрашивается тонами чувственной страсти. Для Герцык монашество не равно пострижению, скорее речь идет о праведной жизни в миру и духовном самосовершенствовании. Как и для Кузьминой-Караваевой, для нее влечение к мужскому началу (сильное чувство, проникнутое

стремлением к жертвенности и подвигу) выражается в лирике преимущественно через любовь к Богу. К традиционной любовной лирике они не обращаются. Трагическая муза Анны Барковой подводит своеобразный итог мистическим чаяниям женщин Серебряного века и оплакивает Христа-возлюбленного, вторично распятого при становлении советского строя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненский Ин.Ф. О современном лиризме // Критика русского символизма: в 2 т. Т. 2. М.: Олимп; АСТ, 2002. С. 267–359.
2. Эконен К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме. М.: НЛЮ, 2011. 400 с.
3. Бердяев Н. Метафизика пола и любви. 1907. Перевал. № 5. С. 7–17; № 6. С. 24–36.
4. Колтоновская Е. Женское (Вместо предисловия) // Колтоновская Е. Женские силуэты. Статьи и воспоминания (1910–1930). М.: Common place, 2020. С. 196–200.
5. Рюткёнен М. Гендер и литература: проблема “женского письма” и “женского чтения” // Филологические науки. 2000. № 3. С. 5–17.
6. Гиппиус З. Стихотворения / Вст. ст., сост., подг. текста и примеч. А.В. Лаврова. СПб.: Академический проект, 1999. 589 с.
7. Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998. 415 с.
8. Лохвицкая М. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Дмитрий Сечин, 2018.
9. Вагнер Р. Зигфрид. Опера в трех действиях (Либретто). Интернет-источник: <http://libretto-opera.ru/wagner/siegfried>
10. Кузнецова Е.В. Образ святой Терезы Авильской в женской лирике Серебряного века. Статья первая // Новый филологический вестник. № 2(57). 2021. С. 194–211.
11. Кузнецова Е.В. Образ святой Терезы Авильской в женской лирике Серебряного века. Статья вторая // Новый филологический вестник. 2022. № 1. С. 161–179.
12. Екатерина [святая] // Православная энциклопедия. Интернет-источник: <https://www.pravenc.ru/text/189599.html>
13. Черубина де Габриа. Исповедь. М.: Аграф, 1998. 384 с.
14. Мерезковский Д.С. Испанские мистики: Святая Тереза Иисуса, Святой Иоанн Креста. Маленькая Тереза / Ред., вст. ст., пред. Т. Пахмусс. Томск: Водолей, 1997. 287 с.

15. Бердяев Н. Утонченная Фиваида (Религиозная драма Гюйсманса) // Бердяев Н. Философия свободы. М., 1911. С. 255–280.
16. Пахарева Т.А. Образ “монахини-блудницы” в культурном контексте Серебряного века // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 9. Симферополь, 2011. С. 227–237.
17. Герцык А.К. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. М.: Аграф, 2004. 552 с.
18. Зайцев Б.К. Из дневника // Герцык А.К. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. Аграф, 2004. С. 517–518.
19. Бонецкая Н. Сестры Герцык как феномен Серебряного века. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 768 с.
20. Dillon K. Adelaida Gertsyk (1874–1933) // Russian Women Writers. Vol. 1. New York and London. Garland Publishing, Inc., 1999, pp. 535–552.
21. Пуц Г. Аделаида Герцык – поэтесса меж временем и вечностью // Герцык А.К. Из круга женского. Стихотворения. Эссе. М.: Аграф, 2004. С. 5–30.
22. Scherr B.P. 1999. Cherubina de Gabriak (1887–1928). Russian Women Writers. Vol. 1. New York and London. Garland Publishing, Inc., pp. 481–490.
23. Кузьмина-Караваева Е.Ю. Равнина русская: стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма. СПб.: Искусство-СПб., 2001. 767 с.
24. Боброва Е.В. Роль мифологической образности в языковой картине мира Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (на примере цикла стихотворений “Невзрающий”) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6(2). С. 67–70.
25. Баркова А. Женщина: Стихи. Пг.: Государственное издательство, 1922. 96 с.
26. Луначарский А.В. [Предисловие] // Баркова А. Женщина: Стихи. Пг., 1922. С. 3–4.
27. Зусева-Озкан В.Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма. М.: Индрик, 2021. 712 с.
3. Berdyaev, N. *Metafizika pola i liubvi* [Metaphysics of Sex and Love]. Pereval. 1907, No. 5, pp. 7–17; No. 6, pp. 24–36. (In Russ.)
4. Koltonovskaya, E. *Zhenskoe (Vmesto predisloviia)* [Feminine (Instead of a Preface)]. Koltonovskaya, E. *Zhenskie siluety. Statji i vospominaniia (1910–1930)* [Female Silhouettes. Articles and Memoirs (1910–1930)]. Moscow, Common place Publ., 2020, pp. 196–200. (In Russ.)
5. Rjuktjonen, M. *Gender i literatura: problema “zhenskogo pisma” i “zhenskogo chtenija”* [Gender and Literature: the Problem of “Women’s Writing” and “Women’s Reading”]. *Filologicheskie nauki* [Philological Studies]. 2000, No. 3, pp. 5–17. (In Russ.)
6. Gippius, Z. *Stichotvorenia* [Poems]. St. Petersburg, Acadamicheskij proekt Publ., 1999. 589 p. (In Russ.)
7. Pyman, A. *Istoriia russkogo simvolizma* [The History of the Russian Symbolism]. Moscow, Respublika Publ., 1998. 415 p. (In Russ.)
8. Lochvickaya, M. *Sobranie sochinenij* [Collected poems]. In 3 Vols. Moscow, Dmitriy Sechin Publ., 2018. (In Russ.)
9. Vagner, R. *Zigfrid. Opera v trech dejstvijach (Libretto)* [Zigfrid. Opera in Three Acts. Libretto]. URL: <http://libretto-oper.ru/wagner/siegfried> (In Russ.)
10. Kuznetsova, E.V. *Obraz sviatoj Terezy Avilskoj v zhenskoj lirike Serebrianogo veka. Statja pervaja* [The Image of Saint Teresa of Avila in the Female Lyrics of the Silver Age. The First Article]. *Novyj filologicheskij vestnik* [New Philological Bulletin]. 2021, No. 2(57), pp. 194–211. (In Russ.)
11. Kuznetsova, E.V. *Obraz sviatoj Terezy Avilskoj v zhenskoj lirike Serebrianogo veka. Statja vtoraja* [The Image of Saint Teresa of Avila in the Female Lyrics of the Silver Age. The Second Article]. *Novyj filologicheskij vestnik* [New Philological Bulletin]. 2022, No. 1, pp. 161–179. (In Russ.)
12. Ekaterina [sviataja] [St. Ekaterina]. *Pravoslavnaia enciklopedia* [Orthodox Encyclopedia]. URL: <https://www.pravenc.ru/text/189599.html> (In Russ.)
13. Cherubina de Gabriak. *Ispoved* [Confession]. Moscow, Agraf Publ., 1998. 384 p. (In Russ.)
14. Merezhkovsky, D.S. *Ispanskie mistiki: Sviataja Tereza Iisusa, Sviatoj Ioann Kresta. Malenkaja Teraza* [Spanish Mystics: Saint Teresa of Jesus, Saint John of the Cross. Little Theresa]. Tomsk, Vodoley Publ., 1997. 287 p. (In Russ.)
15. Berdyaev, N. *Utonchennaia Fivaida (Religioznaia drama Giuismansa)* [The Refined Thebaid (Huysmans’ Religious Drama)]. Berdiaev, N. *Filosofia svobody* [The Philosophy of Freedom]. Moscow, 1911, pp. 255–280. (In Russ.)
16. Pakhareva, T.A. *Obraz “monakhini-bludnicy” v kulturnom kontekste Serebrianogo veka* [The Image of a “Nun-Harlot” in the Cultural Context of the Silver

REFERENCES

1. Annensky, I.F. *O sovremennom lirizme* [About Modern Lirism]. *Kritika russkogo simvolizma* [Criticism of Russian Symbolism]. In 2 Vols. Vol. 2. Moscow, Olimp; AST Publ., 2002, pp. 267–359. (In Russ.)
2. Ekonen, K. *Tvoret, subjekt, zhenshchina: Strategii zhenskogo pisma v russkom simvolizme* [Creator, Subject, Woman: Strategies of Women’s Writing in Russian Symbolism]. Moscow, NLO Publ., 2011. 400 p. (In Russ.)

- Age]. *Anna Akhmatova: epokha, sudba, tvorchestvo: Krymskij Akhmatovskij nauchnyj sbornik* [Anna Akhmatova: Epoch, Fate, Creativity: Crimean Akhmatova Scientific Collection]. Issue 9. Simferopol, 2011, pp. 227–237. (In Russ.)
17. Gertsyk, A.K. *Iz kruga zenskogo. Stichotvorenia. Esse* [From the Female Circle. Poems. Essay]. Moscow, Agraf Publ., 2004. 552 p. (In Russ.)
18. Zajtsev, B.K. *Iz dnevnika* [From Diary]. Gertsyk, A.K. *Iz kruga zhenskogo. Stikhotvorenii. Esse* [From the Female Circle. Poems. Essay]. Moscow, Agraf Publ., 2004, pp. 517–518. (In Russ.)
19. Bonetskaya, N. *Syostry Gercyk kak fenomen Serebryanogo veka* [The Herzyk Sisters as a Phenomenon of the Silver Age]. Moscow; St. Petersburg, 2020. 768 p. (In Russ.)
20. Dillon, K. *Adelaida Gertsyk (1874–1933). Russian Women Writers. Vol. 1.* New York and London. Garland Publishing, Inc., 1999, pp. 535–552. (In English)
21. Ric, G. *Adelaida Gercyk – poetessa mezh vremenem i vechnostyu* [Adelaide Herzyk – Poet Between Time and Eternity]. Gertsyk, A.K. *Iz kruga zhenskogo. Stichotvorenija. Esse* [From the Female Circle. Poems. Essay]. Moscow, 2004, pp. 5–30. (In Russ.)
22. Scherr, B.P. *Cherubina de Gabriak (1887–1928). Russian Women Writers. Vol. 1.* New York and London. Garland Publishing, Inc., 1999, pp. 481–490. (In English)
23. Kuzmina-Karavaeva, E.Y. *Ravnina russkaja: stichotvorenija i poemy. Misterii. Chudozestvennaja i avtobiograficheskaja proza. Pisma* [Russian Plain: Poems and Poems. Mystery Plays. Fiction and Autobiographical Prose. Letters]. St. Petersburg, Iskustvo-SPb Publ., 2001. 767 p. (In Russ.)
24. Bobrova, E.V. *Rol mifologicheskoy obraznosti v iazykovoj kartine mira E.Iu. Kuzminoj-Karavaevoj (na primere cikla stikhotvorenij “Nevziraiushchij”)* [The Role of Mythological Imagery in the Linguistic Picture of the World by E.Y. Kuzmina-Karavaeva (on the Example of the Cycle of Poems “The Non-Contemplative”)]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo* [Bulletin of the N.I. Lobachevsky University of Nizhny Novgorod]. 2011, No. 6(2), pp. 67–70. (In Russ.)
25. Barkova, A. *Zenshchina: Stikhi* [Women: Poems]. Petrograd, Gosudarstvennoje izdatelstvo Publ., 1922. 96 p. (In Russ.)
26. Lunacharsky, A.V. (*Predislovie*) [Preface]. Barkova, A. *Zhenshchina: Stikhi* [Women. Poem]. Petrograd, 1922, pp. 3–4. (In Russ.)
27. Zuseva-Ozkan, V.B. *Deva-voitelnica v literature russkogo modernizma* [The Warrior Maiden in the Literature of Russian Modernism]. Moscow, Indrik Publ., 2021. 712 p. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 20 октября 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 31 октября 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on October 20, 2022

Revised on October 31, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024636-5

Цветовая метафора в творчестве Жака Превера

© 2023 г. О. А. Кулагина

Кандидат филологических наук,
доцент Московского педагогического государственного университета,
Россия, 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
oa.kulagina@yandex.ru

Резюме. В статье рассматриваются стилистико-семантические особенности цветочных метафор, присутствующих в текстах известного французского поэта Жака Превера. Основным методом исследования является лингвостилистический и лингвокультурологический анализ текста: данный метод позволит нам выявить как специфические, авторские коннотации, которыми обладают цветообозначения в произведениях Превера, так и элементы традиционно приписываемых им в европейской культуре значений. Материалом для анализа послужили стихотворные и прозаические произведения из сборников “Choses et autres” (“Одно и другое”, 1972), “Fatras” (“Всякий хлам”, 1966), “Grand Bal du Printemps” (“Большой весенний бал”, 1951), “Histoires et d’autres histoires” (“Истории и еще истории”, 1946), “La cinquième saison” (“Пятое время года”, 1984), “La pluie et le beau temps” (“Дождь и ведро”, 1955), “Paroles” (“Слова”, 1946) и “Soleil de nuit” (“Ночное солнце”, 1980). Особое внимание уделяется комбинациям цветочных метафор с другими сенсорными метафорами, в первую очередь — звуковыми. По итогам исследования делается вывод о стилистической и семантической специфике метафор на основе того или иного цветообозначения, а также о специфической коннотации данного цветообозначения, приобретаемой им в произведениях Превера.

Ключевые слова: Жак Превек, цветочная метафора, семантика, коннотация, лингвостилистический и лингвокультурологический анализ.

Для цитирования: Кулагина О.А. Цветочная метафора в творчестве Жака Превера // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 67–78. DOI: 10.31857/S160578800024636-5

Color Metaphor in Jacques Prévert’s Works

© 2023 Olga A. Kulagina

Cand. Sci. (Philol.),
Associate Professor at the Moscow Pedagogical State University,
1 Bld. 1 Malaya Pirogovskaya Str., Moscow, 119991, Russia
oa.kulagina@yandex.ru

Abstract. The article examines the stylistic and semantic features of color metaphors present in the texts of the famous French poet Jacques Prévert. The main method of this study is the linguo-stylistic and linguo-culturological analysis of the text: this method will allow us to identify both the specific, authorial connotations possessed by color meanings in the works of Prévert, and elements of the meanings traditionally attributed to them in European culture. We put under analysis poetic and prose works from the collections “Choses et autres” (“Things and others”, 1972), “Fatras” (“Jumble”, 1966), “Grand Bal du Printemps” (“Big Spring Ball”, 1951), “Histoires et d’autres histoires” (“Stories and more stories”, 1946), “La cinquième saison” (“The Fifth Season”, 1984), “La pluie et le beau temps” (“Rain and Bucket”, 1955), “Paroles” (“Words”, 1946) and “Soleil de nuit” (“Night Sun”, 1980). Particular attention is paid to combinations of color metaphors with other sensory metaphors, primarily sound metaphors. The study results in a conclusion that

Jacques Prévert used stylistic and semantic specificity of metaphors based on a particular color designation within specific contexts.

Key words: Jacques Prévert, color metaphors, semantics, connotation, linguo-stylistic and linguo-culturological analysis.

For citation: Kulagina, O.A. *Tsvetovaya metafora v tvorchestve Zhaka Prevera* [Color Metaphor in Jacques Prévert's Works]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 67–78. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024636-5

Обращаясь к текстам Жака Превра, любой исследователь столкнется с дилеммой: с одной стороны, их стилистическое богатство представляет собой благодатную почву для всестороннего анализа, но, с другой стороны, интерпретаций произведений Превра может быть великое множество, поскольку он оставляет читателю полную свободу толкования, будучи на протяжении всей своей жизни ярким защитником свободы во всех ее проявлениях [1, p. 8]. Свои произведения Превр отказывался классифицировать как принадлежащие к тому или иному жанру [2], а его отношения с признанными литературными направлениями (в первую очередь, с сюрреализмом и группой “Октябрь”) никогда не были однозначными. Стилистике сюрреализма, которая изначально живо заинтересовала его своей необычностью и свежестью, он придал еще более новаторское звучание, привнеся в свое творчество элементы разговорной речи (которые ранее не были свойственны французской поэзии) и отводя грамматике ведущую роль в структурировании текстов [3, p. 463]. Отметим также, что Превру свойственны специфические сочетания наиболее употребительных стилистических фигур [4, p. 391], что создает зачастую шоковый эффект [5, p. 34]. Важное место в стилистическом арсенале писателя занимает цветовая метафора: изучению специфики именно этого малоизученного аспекта его творчества посвящена наша статья.

В своей статье мы сосредоточимся именно на стилистических особенностях текстов Превра, не останавливаясь на их взаимосвязи с упомянутыми выше художественными течениями, поскольку данный вопрос заслуживает отдельного, гораздо более детального исследования. При анализе репрезентации цветов у Превра мы ограничимся метафорами, в основе которых лежат обозначения реально существующих цветов, с целью выявить коннотации, которые они приобретают в рассматриваемых произведениях.

Красный

По наблюдению М. Пастуро и Д. Симоне, “в мире символов все можно толковать двояко,

особенно цвета” [6, p. 33]. Это относится, в первую очередь, к красному цвету, который еще со времен Античности ассоциируется с такими амбивалентными понятиями, как огонь и кровь. С одной стороны, этот цвет символизирует жизнь, любовь, силу, очищение и возрождение; с другой — отсылает к идее преступного, греховного, запретного [6, p. 32–33]. В наши дни красный цвет ассоциируется во французской лингвокультуре с праздником, страстью, эротизмом, но также и сильным гневом, о чем свидетельствует фразеологизм “*voir rouge*” — “разгневаться, прийти в ярость” (букв. “видеть все в красном цвете”) [6, p. 40–41], то есть сохраняет свое двойственное значение. Эта двойственность прослеживается также в произведениях Превра. Так, красный цвет может символизировать жизнь и свободу, как, например, в стихотворении “*La fleur*” (“Цветок”):

*La fleur ancienne
toute neuve
Folle comme avoine¹
lucide comme blé
ou riz
Vraie comme rêve
belle comme amour
rouge comme toujours* [7, p. 215]

Это древний цветок
но совсем новый
Безумный, как овес
здорово мыслящий, как пшеница
или рис
Настоящий, как сон
прекрасный, как любовь
красный, как всегда²

В приведенном примере обращают на себя внимание антитетические эпитеты “*La fleur ancienne toute neuve Folle comme avoine lucide comme blé ou riz*” (“Это древний цветок / но совсем недавний / Безумный, как овес / здраво мыслящий, как пшеница / или рис”), которые создают эффект парадокса, подчеркивая тем самым амбивалентность красного цветка. Отметим также, что

¹ Отсылка к ботаническому термину “*folle-avoine*” (“овсюг”), букв. “безумный овес”.

² Здесь и далее перевод наш. — О.К.

эпитет “rouge” (“красный”) нарушает синтаксический параллелизм в конце процитированного фрагмента: если в двух строках он образует сравнительные конструкции с существительными, то в последней строке он образует сравнение на основе наречия, вероятно, субстантивированного (“toujours” – “всегда”). Это нарушение параллелизма, усиленное за счет одновременно ассонанса и аллитерации, подчеркивает в данном контексте значимость красного цвета, который символизирует жизненную силу, способную преодолевать любые испытания. Подобной коннотацией красный цвет наделен и в эссе “Rouge” (“Красный”), посвященном художнику Жерару Фроманже, чье творчество отличалось преобладанием красного цвета:

Rouge, c'est un nom, mais comme Rose ou Blanche, cela pourrait être aussi un prénom et Gérard Fromanger pourrait tout aussi bien s'appeler Rouge Fromanger.

Cela lui irait comme un gant, un grand gant rouge semblable à ceux qui ornent encore, dans les quartiers oubliés, les boutiques des derniers teinturiers.

Tant d'autres ont le coeur noir, calculateur, le coeur ordinateur; lui, il est rouge de coeur et le sang qui court dans ses veines le fait vivre, bel et bien rouge et vif, tendre et violent, au jour le jour comme le temps [7, p. 228].

Красный – это имя прилагательное, но, как Роза или Бланш³, могло бы быть и именем собственным, и Жерар Фроманже точно так же мог бы носить имя Красный Фроманже.

Это идеально подошло бы ему⁴, как большая красная перчатка, похожая на те, которые до сих пор украшают, в забытых районах, лавки последних красильщиков.

У стальных людей сердце – черное, расчетливое, сердце-компьютер; а у него сердце – красное, и кровь, что течет в его жилах, дает ему жизненную силу, по-настоящему красная и живая, нежная и резкая, изо дня в день, как время.

В первую очередь, отметим здесь повтор лексемы “rouge”, которая употребляется как в прямом значении, так и в составе метафоры “il est rouge de coeur” (“у него сердце – красное”), перечисления эпитетов “rouge et vif, tendre et violent” (“красная и живая, нежная и резкая”), а также метафорического сравнения “Cela lui irait comme un gant, un grand gant rouge” (“Это идеально подошло бы ему, как большая красная перчатка”). Как и в предыдущем примере, красный цвет передает здесь идею жизненной силы, страстности и внутреннего огня, который подпитывает вдохновение художника. Обращает на себя внимание

³ Rose – букв. “розовый”, также используется как имя собственное (Роза), blanche – букв. “белая”, используется и как имя собственное (Бланш).

⁴ Букв. “подошло бы, как перчатка”.

также противопоставление красного и черного, где последний обладает выраженной негативной коннотацией, которая передается за счет эпитета “calculateur” (“расчетливое”) и метафоры “le coeur ordinateur” (“сердце-компьютер”), создающих эффект оксюморона. Эта цветовая антитеза дополнительно подчеркивает идею силы и жизненной энергии, которую несет красный цвет у Превера.

В то же время, энергия, которую символизирует красный цвет, может быть не только созидательной, но и разрушительной – как это показано, в частности, в уже упомянутом выше эссе “Rouge” (“Красный”):

Sur le dérisoire tapis vert des derniers jeux de la misère, chaque jour le rouge gagne du terrain et, le bel Oiseau bleu du conte, s'il est encore couleur du temps, c'est du temps rouge, du sombre temps, du temps couvert, couvert de sang.

Et de même que le bien du Zen ne peut rien contre le mal d'usine, un coup de rouge est un pauvre vaccin contre le noir lucide chagrin [7, p. 235].

На ничтожном зеленом ковре последних игр нишеты с каждым днем красный распространяется все больше, и если прекрасная Синяя птица из сказки еще отвечает духу времени⁵, то времени красного, времени темного, времени, затянутого тучами, залитого кровью.

И точно так же, как благо Дзена бессильно перед болезнью завода, бокал красного – слабая вакцина против черного трезвомыслящего горя.

В процитированном фрагменте красный цвет образует двойную цветовую антитезу: с синим цветом (который обладает положительной коннотацией) и с черным (обладающим отрицательным значением). В первом случае красный цвет представлен как цвет победы, что показано посредством метафоры “chaque jour le rouge gagne du terrain” (“с каждым днем красный распространяется все больше”). Преобладание красного цвета над синим (являющимся в данном контексте метафорой удачи и счастья, символом которых традиционно является синяя птица) выражено также восходящей градацией “c'est du temps rouge, du sombre temps, du temps couvert, couvert de sang” (“времени красного, времени темного, времени, затянутого тучами, залитого кровью”), в конце которой мы видим сочетание анадиплосиса и антанаклазиса “du temps couvert, couvert de sang” (“времени, затянутого тучами, залитого кровью”, букв. “времени покрытого⁶, покрытого кровью”). Красный цвет одерживает победу и над

⁵ Букв. “цвета времени”.

⁶ Слово сочетание “le temps couvert” переводится как “облачная погода”; у Превера мы наблюдаем силлепсис, где обе лексемы употребляются в прямом и переносном значениях одновременно.

зеленым, который в данном примере обладает отрицательным значением (что является скорее исключением в текстах Превера) и характеризуется пейоративным эпитетом “*dérisoire*”, передающим идею слабости и незначительности. Красный же показан как цвет силы и даже насилия, однако всей его энергии оказывается недостаточно перед лицом очевидного, слишком ясно осознаваемого горя, которое репрезентировано черным цветом. Преобладание последнего выражено посредством комбинации метафоры и метонимии “*un coup de rouge est un pauvre vaccin contre le noir lucide chagrin*” (“бокал красного – слабая вакцина против черного трезвомыслящего горя”), где присутствует также контекстуальная антитеза между двумя цветами, один из которых обозначает вино, а другой передает – за счет эпитета “*lucide*” (“здравомыслящий”) – чересчур трезвый взгляд на вещи.

Красный цвет у Превера может эксплицитно передавать идею смерти, как, например, в эссе “*Lanterne magique de Picasso*” (“Волшебный фонарь Пикассо”):

Et toute la colère d'un peuple amoureux travailleur insouciant et charmant qui soudain éclate brusquement comme le cri rouge d'un coq égorgé publiquement [8, p. 261].

И вся ярость влюбленного, трудящегося, беззаботного и очаровательного народа внезапно вспыхивает, как красный крик петуха, которого режут у всех на виду.

В приведенном примере обращает на себя внимание целый ряд эпитетов с положительной коннотацией, как то: “*un peuple amoureux travailleur insouciant et charmant*” (“влюбленный, трудящийся, беззаботный и очаровательный народ”), которые образуют смысловую антитезу с развернутой метафорой “*toute la colère <...> soudain éclate brusquement comme le cri rouge d'un coq égorgé publiquement*” (“вся ярость <...> внезапно вспыхивает, как красный крик петуха, которого режут у всех на виду”). В последнем фрагменте присутствуют лексемы, обозначающие некое явное действие, которое трудно утаить, а именно – “*éclater*” (“вспыхивать”), “*le cri*” (“крик”), “*publiquement*” (“у всех на виду”), а также сочетание цветовой метафоры и звуковой⁷ (“*le cri rouge*” – “красный крик”), которое призвано придать звуку наибольшую значимость и тем самым усилить эффект народного гнева. Эпитет “*égorgé publiquement*” передает идею смерти, которую невозможно не заметить и которая, судя по контексту, резко изменит жизнь народа, разрушив старый порядок

⁷ Довольно характерный для Превера прием, который еще не раз будет упомянут в данной статье.

и создав вместо него нечто новое. Таким образом, в данном примере красный цвет обладает двойственной коннотацией (что характерно для него в творчестве Превера в целом), обозначая одновременно разрушение старого и созидание нового.

Синий и голубой

На протяжении истории синий цвет претерпел глубокие изменения своего значения. Если в Древнем Риме и Древней Греции он считался “варварским” цветом, то к XII в. он становится цветом Богородицы и вплоть до настоящего времени остается одним из наиболее позитивно воспринимаемых цветов в европейской культуре – не в последнюю очередь благодаря своей сдержанности и строгости [6, p. 17–26]. У Превера именно прилагательное “*bleu*” (“синий”, “голубой”) чаще других входит в состав метафорических комбинаций, где сочетаются цветовая и звуковая метафоры. Именно синий обладает у Превера наибольшей слышимостью, что противоречит традиционному восприятию его как скромного и сдержанного. В качестве подтверждения этой мысли приведем примеры из стихотворений “*A...*” (“*K...*”, пример 1) и “*Vignette pour les vigneron*s” (“Виньетка для виноделов”, пример 2):

1) et la musique de ton regard si jeune était toute bleue
si fraîche si gaie [9, p. 276]

а музыка твоего юного взгляда была
синяя-синяя
полная свежести и веселья

2) Et les vignes descendent toujours vers la mer
chantant avec le vent
Un orchestre de sulfate de cuivre
les accompagne
de ses reflets et de ses refrains bleus [10, p. 76]

А виноградники так и спускаются к морю
и поют вместе с ветром
Оркестр из сульфата меди
аккомпанирует им
своими отсветами и своими синими припевами

В обоих примерах прилагательные “*bleue*” (“синяя”) и “*bleus*” (“синие”) являются частью сочетания звуковой и цветовой метафор “*la musique <...> toute bleue*” (“музыка... <...> синяя-синяя”) и “*ses refrains bleus*” (“своими синими припевами”). Звучание синего цвета обладает, судя по контексту, меньшей силой, чем звуки, связанные с красным, и ассоциируется с безмятежностью и гармонией, о чем говорят эпитеты с положительной коннотацией “*fraîche*” (“свежая”) и “*gaie*” (“веселая”), а также метафорическая персонификация “*Et les vignes descendent toujours vers la mer chantant avec le*

vent” (“А виноградники так и спускаются к морю / и поют вместе с ветром”).

Наряду с этим, синий цвет у Превера может ассоциироваться не только с положительными эмоциями, но также и с печалью, как в стихотворении “Robert, Robert Desnos...” (“Робер, Робер Деснос...”), посвященном другу Превера, известному поэту Роберу Десносу, погибшему в концлагере в 1945 году:

Enfin au revoir, Robert
– à la radio aussi, le temps est compté –
mais l’oiseau bleu couleur du temps
du temps du rêve,
du temps de vérité,
te salue et te chante amitié [11, p. 251–252]

Ну, до свидания, Робер
– на радио время тоже на вес золота
но синяя птица цвета времени
цвета мечты
цвета истины
приветствует тебя и поет тебе о дружбе

Само стихотворение представляет собой прощание, которое Преввер в радиоэфире адресует погибшему другу. Метафорический образ синей птицы (которая, в отличие от упомянутого ранее эссе “Rouge”, окрашена здесь исключительно в свой изначальный цвет) составляют лексемы с положительной коннотацией “rêve” (“мечта”), “vérité” (“истина”) и “amitié” (“дружба”). Обращает на себя внимание и репрезентация “цвета времени” в приведенном примере: если время, окрашенное в красный цвет, которое фигурирует в эссе “Rouge”, показано с негативной оценкой, то синее время представлено с более положительной точки зрения, несмотря на косвенную ассоциацию со смертью. Сочетание цветовой и звуковой метафор “l’oiseau bleu <...> te chante amitié” (“синяя птица <...> поет тебе о дружбе”) призвано показать, что истинная дружба – сильнее смерти и что именно в этой мысли автор находит утешение от потери друга.

Антитеза синего и красного, долгое время релевантная во французской культуре [6, p. 21–22], находит свое отражение и в текстах Превера, в частности, в уже упомянутом выше эссе “Rouge”:

Le bleu est aimable, le bleu, c’est la Grande Bleue, la mer tranquille quelque part, le petit bleu, lui, était un pneumatique, un message amoureux.

Il y a tant de bleus, bleu d’Auvergne, de caserne ou jadis ersatz de Dieu dans les bons vieux jurons irrespectueux, jernibleu, morbleu, sacrebleu, et le gros mangeur qui désire un steak saignant le commande bleu, peut-être pour oublier sa vraie couleur de sang [7, p. 234–235].

Синий цвет приятен, синий – это Средиземное море⁸, спокойное море где-то там, это и пневматическая почта⁹, любовное письмо.

Существует столько всего синего и голубого – голубой овернский сыр, синяя блуза новобранца¹⁰, или когда-то замена Бога в старых добрых непочтительных ругательствах: черт возьми¹¹, черт побери¹², проклятье¹³, а любитель поесть, который мечтает о стейке с кровью, заказывает его синим¹⁴, возможно, чтобы забыть о его истинном кровавом цвете.

В приведенном примере противопоставление синего и красного выражено антитезой традиционных французских реалий, сопровождаемых мелиоративным эпитетом “aimable” (“приятный”), многие из которых обладают положительной культурной коннотацией, и эпитета “couleur de sang” (“кровавый цвет”), который обладает негативной коннотацией и обозначает в данном контексте то, на что неприятно смотреть и что необходимо забыть. Тем не менее, элементы этой антитезы оказываются связаны друг с другом, поскольку сдержанный синий цвет здесь выступает как некая благопристойная маскировка для красного, который ассоциируется с кровью и смертью, из-за чего о нем предпочитают не говорить.

Заметим, что синий цвет у Превера не всегда обладает положительной коннотацией: в частности, его значение меняется в сочетаниях с бледным цветом¹⁵. Так, подобную комбинацию мы видим в стихотворении “Volets ouverts...” (“Ставни открыты...”):

Volets ouverts punaises oubliées
Volets fermés
le papillon du gaz recommence à siffler
son refrain bleu et blême
et toute la cuisine tremble
de toutes les cicatrices de ses murs de crasse [12, p. 48]

⁸ Букв. “Великое синее”.

⁹ Букв. “маленькое синее”.

¹⁰ Букв. “синий цвет казармы”: в XIX в. большинство новобранцев из числа рабочих и крестьян были одеты в синие блузы – наиболее распространенную одежду в той среде.

¹¹ Jernibleu (искаж. “jarnibleu”, букв. “отрицаю синий”) – устаревшее ругательство, эвфемизм от “je renie Dieu”, букв. “отрицаю Бога”.

¹² Morbleu (букв. “смерть синего”) – устаревшее ругательство, эвфемизм от “par la mort de Dieu”, букв. “клянусь смертью Бога”.

¹³ Sacrebleu (букв. “проклятый синий”) – устаревшее ругательство, эвфемизм от “sacré nom de Dieu” (букв. “проклятое имя Бога”).

¹⁴ Выражение “steak bleu” обозначает стейк с кровью.

¹⁵ Репрезентации бледного цвета будет посвящен отдельный параграф.

Ставни открыты, клопы забыты
Ставни закрыты
клапан-бабочка снова свистит
свой синий и бледный припев
и вся кухня дрожит
всеми шрамами своих запачканных стен

Сочетание синего и бледного цветов, акцентированное аллитерацией (“bleu et blême”), призвано показать всю нищету обстановки описываемого дома, которая также выражена посредством лексем с негативным значением “cicatrices” (“шрамы”) и “crasse” (“грязь”). Обращает на себя внимание изменение коннотации метафоры “refrain bleu” (“синий припев”), которая была упомянута выше в этом же параграфе: если ранее мы отмечали ее положительное значение, то в данном случае эпитет “blême” (“бледный”) нивелирует ее мелиоративный характер. Таким образом, синий цвет у Превера репрезентирован как амбивалентный, однако, в отличие от красного, эта амбивалентность не присуща ему изначально, а приобретает за счет сочетания с другим цветом, в частности, бледным.

Зеленый

Значение зеленого цвета во французской лингвокультуре претерпело наиболее глубокие трансформации на протяжении всей истории. В Средние века зеленый получали из природных красителей, которые быстро выцветали в результате стирки и под воздействием солнечного света. По этой причине зеленый начали ассоциировать с непостоянством и неверностью, а позднее (вероятно, также благодаря своей репутации неустойчивого цвета) он стал символом везения – как, впрочем, и неудачи. В конце XIX в. зеленый постепенно приобретает экологическую коннотацию, которую сохраняет и в наши дни [6, p. 65–73]. В текстах Превера зеленый встречается реже, чем красный и синий, и в большинстве случаев наделен положительной коннотацией (за исключением случая, описанного в параграфе, посвященном красному цвету). Зеленый у Превера ассоциируется с природой (что вписывается в традиционную семантику этого цвета), но зачастую также и с неким тайным знанием, как в стихотворении “Arbres” (“Деревья”):

En argot les hommes appellent les oreilles des feuilles
c'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent
la musique
mais la langue verte des arbres est un argot bien plus
ancien
Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des
humains
<...>
Celui qui plantera un arbre secret dans la rue Pillet-Will

n'aura son nom marqué sur aucune façade
mais sans le savoir les passants
lui seront très reconnaissants
en écoutant dans cette rue mendiante stricte et veuve
de tout
un petit air de musique verte
insolite
salutaire et surprenant [13, p. 206, 209]

На арго люди называют уши листьями
явно чувствуют, что деревья знают толк в музыке
но зеленый язык деревьев – это гораздо более древнее арго

Кто знает, что они говорят, когда обсуждают людей
<...>

Имя того, кто тайно посадит дерево на улице
Пийе-Вилля

не будет выгравировано ни на одном фасаде
но, сами того не зная, прохожие
будут ему очень благодарны
слушая на этой нищей, строгой улице
лишенной всего
зеленую мелодию
необычную
спасительную и неожиданную

Метафорический перифраз “la langue verte” (букв. “зеленый язык”), обозначающий арго (то есть секретный язык, известный лишь ограниченному кругу людей), говорит о том, что деревья обладают неким тайным знанием, которое доступно только им, но при этом они не афишируют свою избранность. Сдержанность и скромность зеленого цвета выражены эпитетом “secret” (“тайный”), однако, в отличие от корректной и благопристойной сдержанности синего, здесь речь идет о сдержанности спасительной. Эта мысль передается посредством сочетания цветовой и звуковой метафор “un petit air de musique verte” (“зеленая мелодия”), а также перечисления эпитетов “insolite salutaire et surprenant” (“необычная, спасительная и неожиданная”), которое образует антитезу с другим перечислением – “cette rue mendiante stricte et veuve de tout” (“эта нищая, строгая и лишенная всего улица”). Эта антитеза позволяет предположить, что у Превера зеленый цвет, при всей своей скрытности, помогает преодолеть трудности и пережить любую беду. Превер наделяет этот цвет жизненной силой, но, в отличие от неукротимой энергии красного, которая может быть как созидательной, так и разрушительной, сила зеленого цвета состоит в том, чтобы поддерживать и исцелять. Приведем отрывок из стихотворения “Couleurs de Paris” (“Краски Парижа”), который иллюстрирует эту мысль:

Dans un chantier désert, une pauvre petite plante verte
dans une pauvre caisse éventrée jette un cri de détresse, de
soif.

Surgit alors la vieille femme à l'arrosoir <...>. Et la plante
reprend ses couleurs et lui crie un vert merci. [14, p. 138]

На пустынной стройке бедное маленькое зеленое растение в убогом развороченном ящике испускает крик отчаяния и жажды.

И тут появляется пожилая женщина с лейкой <...>. И к растению возвращаются краски, и оно кричит ей зеленое спасибо.

Прилагательное “vert.e” (“зеленый, -ая”) употреблено здесь антанакластически: вначале – в прямом значении, для обозначения реального цвета растения, а затем – в составе метафорической персонификации “et la plante <...> lui crie un vert merci” (“и растение <...> кричит ей зеленое спасибо”), где в очередной раз мы видим сочетание цветовой и звуковой метафор. Зеленый цвет в данном контексте ассоциируется с чудесным исцелением: эта идея усиливается за счет глагола “surgir” (“внезапно появляться”) и дополнительно подчеркивает положительную коннотацию зеленого у Превера.

Желтый

Как и в случае зеленого цвета, значение желтого претерпело немалые трансформации. В Древнем Риме и Древней Греции этот цвет обладал выраженной положительной коннотацией и символизировал солнце и радость жизни. Однако в Средние века положительным значением, свойственным желтому цвету, начинают наделять золотой, в то время как желтый сохраняет лишь негативную коннотацию и ассоциируется с болезнью, предательством и изгнанием. Обесценивание желтого цвета было свойственно французской лингвокультуре до середины XIX в., когда некоторые художники (в том числе Винсент Ван Гог) начали активно включать его в свою палитру. В настоящее время желтый постепенно вновь приобретает мелиоративное значение: свидетельством тому являются такие известные спортивные эмблемы, как майка победителя в велогонке Тур де Франс. Тем не менее, отрицательная коннотация по-прежнему сохраняется на лингвокультурном уровне, как, например, во фразеологизме “gîte jaune” (“деланно смеяться”, букв. “смеяться по-желтому”), где желтый цвет ассоциируется с ложью и неискренностью [6, p. 79–89].

В произведениях Превера метафоры на основе желтого цвета, как правило, обладают отрицательной коннотацией, объединяя в себе практически все ассоциации, которые ему приписывали в Средние века. Прежде всего, желтый цвет репрезентирован как символ изгнания и дискриминации, с отсылкой к желтой звезде, ношение которой нацистские власти предписывали всем евреям на оккупированных во Вторую мировую войну территориях, включая Париж. В качестве

примера приведем фрагмент стихотворения “Encore une fois sur le fleuve” (“Снова на реке”):

et comme il était triste le soleil
quand l'étoile jaune de la cruelle connerie humaine
sur la plus belle rose de la rue des Rosiers
Elle s'appelait Sarah
ou Rachel
et son père était casquettier
ou fourreur [13, p. 12]

и как же грустило солнце
когда желтая звезда жестокого человеческого
идиотизма

бросила свою, кажется, нечеловеческую тень
на самую прекрасную розу с улицы Розье¹⁶
Ее звали Сара
или Рахиль
а ее отец был шапочником
или скорняком

В приведенном примере обращает на себя внимание персонификация “comme il était triste le soleil” (“как же грустило солнце”), которая создает контекстуальную антитезу желтого солнца (образа, который априори позитивен) и желтой звезды. Отметим также ряд лексем с отрицательным значением “cruelle” (“жестокая”, в переводе “жестокый”), “connerie” (“идиотизм”) и “inhumaine” (“нечеловеческая”), которые дополняют упоминание о желтой звезде, хотя его одного было бы достаточно для характеристики ситуации. Тем не менее, автор дополнительно расширяет контекст, обозначая место действия (улица Розье находится в Маре, старинном еврейском квартале Парижа), а также посредством упоминания двух еврейских имен (Сара и Рахиль) и двух профессий, которые были наиболее частотны среди евреев во Франции до начала Второй мировой войны [15]. Это обилие аллюзий на Холокост выстроено вокруг желтого цвета, который в данном контексте обладает выраженной негативной коннотацией.

Если в предыдущем примере желтое солнце показано с положительной точки зрения, то в стихотворении “Complainte de Vincent¹⁷” (“Жалоба Винсента”) оно репрезентируется как символ безумия:

Et l'homme s'enfuit en hurlant
Pourchassé par le soleil
Un soleil d'un jaune strident [8, p. 209]

А человек убегает с криками
Преследуемый солнцем
Пронзительно-желтым солнцем

¹⁶ Букв. “улица Розовых кустов”.

¹⁷ Имеется в виду известный художник Винсент Ван Гог.

Желтый цвет – один из основных в палитре Ван Гога – здесь выступает не только как аллюзия на душевную болезнь художника, но и как символ агрессии. Идея дискомфорта передается посредством эпитета “d’un jaune strident” (“пронзительно-желтое”), где в очередной раз цветовая метафора сочетается со звуковой, а также за счет глагола “hurler” (“кричать”, “вопить”), который показывает защитную реакцию Ван Гога перед солнечной агрессией.

Наконец, ассоциация желтого цвета с обманом также присутствует в текстах Превера, в частности, в стихотворении “Smig-Smag”¹⁸:

Vous tous
vous pourriez rire
eux faire seulement semblant
Leur rire est jaune d’or
taché de sang vivant [14, p. 176–177]

Вы все
можете смеяться
а они – только делать вид
Их смех – желтый с золотым отливом
запачканный живой кровью

Стихотворение представляет собой развернутую антитезу простых трудящихся и их руководителей, где последние репрезентируются посредством трансформации фразеологизма “rire jaune” (“деланно смеяться”), а именно – добавления эпитета “d’or” (“с золотым отливом”). Этот эпитет ассоциируется с нечестным обогащением сильных мира сего за счет труда других людей, а также уравнивает желтый и золотой цвета (последний, как было сказано выше, в Средние века перенял все положительные значения желтого), наделяя оба отрицательной коннотацией. Антитеза трудящегося человека и алчного начальника была особенно релевантна для Превера, который всю жизнь придерживался левых взглядов и выступал в защиту социальных прав человека [3, p. 464]. Метафора “taché de sang vivant” (“запачканный живой кровью”) дополняет репрезентацию социального неравенства, указывая на жадность власть имущих, которые не остановятся ни перед какими жертвами ради все большего обогащения.

Таким образом, мы можем заключить, что желтый цвет у Превера обладает выраженной отрицательной коннотацией, сохраняя практически все

¹⁸ Игра слов на основе аббревиатур SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti – Межпрофессиональный минимум заработной платы, аналог МРОТ; аббревиатура применялась во Франции до 1970 г.) и SMAG (Salaire minimum agricole garanti – Минимальная гарантированная заработная плата в сельском хозяйстве).

ассоциации, которые приписывались ему, начиная со Средних веков.

Черный

Исторически черный цвет обладает двойственным значением во французской лингвокультуре: с одной стороны, этот цвет ассоциируется со смертью, а с другой – с властью, достоинством и элегантностью [6, p. 95–99]. В произведениях Превера черный, как правило, встречается в сочетаниях с другими цветами (чаще всего с красным). В редких случаях, когда он упоминается самостоятельно, его значение отрицательно, как в стихотворении “Le chemin de traverse” (“Путь наперекор”):

Traversez l’armoire de votre mémoire
le frigidaire noir
traversez la mort
Traversez traversez [14, p. 231]

Идите наперекор через шкаф вашей памяти
черный холодильник
идите сквозь смерть
идите наперекор, идите наперекор

Черный цвет, репрезентированный метафорой “le frigidaire noir” (“черный холодильник”), здесь наделяется однозначной, традиционной для французской лингвокультуры коннотацией и ассоциируется со смертью.

Наряду с этим, в сочетаниях с другими цветами черный обладает амбивалентным значением. В подтверждение этой мысли приведем фрагмент стихотворения “Pour la batterie” (“За батареею”):

Un air de rire tout blanc d’ivoire
et bleu d’amour et vert d’espoir
Et puis aussi tout rouge de sang
de sang joyeux noir et vivant [7, p. 199]

Белый, как слоновая кость, смех
и синий от любви, и зеленый от надежды
И еще красный от крови
веселой крови, черной и живой

Сочетание красного и черного, где оба эпитета описывают кровь, вызывает ассоциации со смертью, – судя по всему, насильственной, поскольку в стихотворении речь идет о военных действиях. Тем не менее, мелиоративно окрашенные эпитеты “joyeux” (“веселый”, в переводе “веселая”) и “vivant” (“живой”, в переводе “живая”) нивелируют отрицательную коннотацию обоих цветов, акцентируя внимание читателя на веселом смехе, а не на гибели смеющегося. В сочетании с красным черный приобретает контекстуальное положительное значение и выступает как символ жизни, которая продолжается, несмотря ни на что.

Отметим, что синий и зеленый цвета, фигурирующие в приведенном отрывке, также обладают мелиоративным значением, которое передается лексемами “amour” (“любовь”) и “espoir” (“надежда”). Таким образом, можно говорить об амбивалентности черного цвета, значение которого зависит от его сочетания с другими цветами.

Белый

Культурные коннотации, которыми наделяют белый цвет во французской лингвокультуре и в Европе в целом, не претерпели значительных изменений на протяжении веков: белый ассоциируется с чистотой, невинностью, божественным светом, это цвет мира и гармонии. Наряду с этим, во французском языке есть свидетельства и другого значения, приписываемого белому цвету: это ассоциация с пустотой, отсутствием некоего признака, которая передается такими фразеологизмами, как “une page blanche” (“чистый лист”, “новая страница”), “une voix blanche” (“бесцветный голос”), “une nuit blanche” (“бессонная ночь”) и т.д. [6, p. 49–57]. В произведениях Превера белый цвет встречается сравнительно редко и зачастую обладает специфическими коннотациями, далекими от традиционных. Так, эпитет “blanc d’ivoire” (“белый, как слоновая кость”) в приведенном выше фрагменте стихотворения “Pour la batterie” (“За батарею”) передает идею некоего начала, пустоты, где жизнь только зарождается, причем начало это, как и слоновая кость, довольно хрупкое. В данном отрывке белый эволюционирует в синий, зеленый, красный и затем в черный, который оказывается наиболее устойчивым и жизнеспособным.

В упомянутом выше фрагменте белый обладает двойственным значением, однако чаще всего его коннотация в текстах Превера отрицательна, как, например, в стихотворении в прозе “Complexes” (“Комплексы”):

Mais le petit bout de chemin s’allongeant à n’en plus finir, Dieu Ier qui trouvait le temps long et même interminable, fut saisi de grande inquiétude et la jalousie, la luxure royale, se mêlant à la colère divine, flanqué de sa garde blanche, il descendit à son tour sur la terre [14, p. 253].

Но поскольку дорожка все никак не кончалась, Бог Первый, которому время казалось долгим и даже бесконечным, испытал сильное беспокойство и ревность, королевское сластолюбие и одновременно божественный гнев, и, в сопровождении своей белой гвардии, он, в свою очередь, сошел на землю.

В примечании к тексту говорится, что перифраз “garde blanche” (“белая гвардия”) обозначает здесь ангелов-истребителей [14, p. 253]. Таким образом,

белый цвет здесь обладает значением, которое противоречит его традиционной коннотации как символа мира: в данном случае он символизирует войну и разрушение. Лексемы с отрицательным значением “jalousie” (“ревность”), “luxure” (“сладострастие”) и “colère” (“гнев”) усиливают разрушительный характер белого цвета, который сохраняет ассоциацию с божественным началом, но коннотация в данном случае меняется с положительной на отрицательную.

Белый цвет в произведениях Превера может ассоциироваться и с расизмом, как в известном стихотворении “La crosse en l’air” (“Штык в землю”):

...à chaque torpille qui tue les “nègres”,
il pousse un petit gloussement blanc [8, p. 122]

...при каждом взрыве, от которого гибнут “черномазы”,
он издает белый смешок

В приведенном примере описана реакция “верующего католика” (в оригинале – “le catholique pratiquant”) на кинокадры, на которых армия Муссолини бомбит эфиопские деревни. Обращает на себя внимание антитеза «les “nègres”» (“черномазы”) – “un petit gloussement blanc” (“белый смешок”), которая характеризует “верующего католика” как расиста, радующегося чужой беде. Эпитет “blanc” употреблен здесь силлептически, сохраняя свое значение “лишенный выражения”, что говорит о равнодушии персонажа к чужой смерти.

В целом, мы можем заключить, что значение белого цвета у Превера заметно трансформируется и приобретает новые коннотации, противоположные тем, которые традиционно ассоциируются с ним во французской лингвокультуре.

Бледный

Бледный цвет в текстах Превера передается двумя прилагательными – “blême” и “livide”, которые в равной степени обладают отрицательным значением, обозначая крайнюю бледность, вызванную эмоциональным потрясением или болезнью, причем прилагательное “livide” обладает более выраженной коннотацией и передает мертвенную бледность [16]. Отметим также, что прилагательное “blême” вызывает и библейские ассоциации, поскольку служит для описания бледного коня, на котором едет Смерть в “Апокалипсисе” [17]. Именно это прилагательное является наиболее употребительным в текстах Превера при передаче бледного цвета и обладает, как правило, отрицательным значением. Приведем пример из эссе “Angela Davis” (“Анджела Дэвис”):

Aujourd'hui, sous les verrous, derrière les barreaux, elle est sous bonne garde, la garde d'horreur. L'horreur stupide, blême et quotidienne [7, p. 217].

Сегодня, взаперти, за решеткой, она находится под надежной охраной, под караулом ужаса. Тупого, бледного и обыденного ужаса.

В упомянутом эссе Превер выступает против ареста Анджелы Дэвис, известной американской правозащитницы. Эта позиция передается за счет паронимии “la garde d'horreur” (“караул ужаса”, вместо “la garde d'honneur” – “почетный караул”) и метафорических эпитетов “L'horreur stupide, blême et quotidienne” (“Тупой, бледный и обыденный ужас”), где бледный цвет символизирует безличный характер системы, жертвой которой стала Анджела Дэвис. Безличность государственной политики, лишенной, с точки зрения автора, здравого смысла, дополнительно репрезентируется также посредством эпитетов “stupide” (“тупой”) и “quotidienne” (“обыденный”).

Как и многие другие цвета у Превера, бледный цвет обладает звучанием, то есть является основой сочетания звуковой и цветовой метафор. В подтверждение этих слов приведем фрагмент стихотворения “Riviera” (“Ривьера”):

et des villas arrive une musique blême
une musique aigre
et sure [8, p. 83]

а со стороны вилл доносится бледная музыка
музыка пронзительная
и кислая

Стихотворение представляет собой ироническое описание роскошного курорта, где отдыхают исключительно престарелые богачи. Обстановка этого места описана посредством сочетания сразу нескольких сенсорных метафор: “une musique blême” (“бледная музыка”, комбинация звуковой и цветовой метафор) и “une musique aigre¹⁹ et sure” (“пронзительная и кислая музыка”, комбинация звуковой и вкусовой метафор). Эпитет “blême” в составе этой метафорической комбинации обладает отрицательным значением и передает идею упадка и смерти.

Бледный цвет также символизирует смерть в стихотворении “Le paysage changeur” (“Пейзаж перемен”):

Sur ce paysage parfois un astre luit
un seul
le faux soleil

¹⁹ Прилагательное “aigre” обладает прямым и переносным значениями, передавая как кислый вкус (и выступая, таким образом, в качестве синонима прилагательного “sur”), так и неприятный, агрессивный характер некоего звука [14].

le soleil blême
le soleil couché
le soleil chien du capital
le vieux soleil de cuivre
le vieux soleil clairon
le vieux soleil ciboire
le vieux soleil fistule
le dégoûtant soleil du roi soleil
le soleil d'Austerlitz
le soleil de Verdun
le soleil fétiche
le soleil tricolore et incolore
l'astre des désastres
l'astre de la vacherie
l'astre de la tuerie
l'astre de la connerie
le soleil mort. [8, p. 94–95]

Над этим пейзажем иногда сияет какое-то светило
одно-единственное
ложное солнце
бледное солнце
лежачее солнце
солнце-пес капитала
старое медное солнце
старое солнце-рожек
старое солнце-дароносица
старое солнце-свищ
омерзительное солнце короля-солнца
солнце Аустерлица
солнце Вердена
солнце-фетиш
трехцветное и бесцветное солнце
светило поражений
светило злобы
светило бойни
светило идиотизма
мертвое солнце.

В приведенном отрывке парадокс “le soleil blême” (“бледное солнце”) сопровождается сразу несколькими эпитетами с негативной коннотацией (“le faux soleil” – “ложное солнце”, “le vieux soleil” – “старое солнце”, “le dégoûtant soleil” – “омерзительное солнце”) и перифразами, обозначающими солнце, в составе которых присутствуют лексемы с отрицательным значением (“désastres” – “поражения”, “vacherie” – “злоба”, “tuerie” – “бойня”, “connerie” – “идиотизм”). Также обращают на себя внимание прецедентные имена Austerlitz и Verdun, отсылающие к двум значимым в истории Франции сражениям – битвам при Аустерлице (1805 г.) и при Вердене (1916 г.) соответственно, – которые приобретают в данном контексте отрицательную коннотацию, репрезентируя войну. Идея смерти, к которой отсылает часть упомянутых выше стилистических средств, выражена эксплицитно в последней строке примера посредством метафорического эпитета “le soleil mort” (“мертвое солнце”). Наконец, отметим еще один парадокс – “le soleil tricolore et incolore” (“трехцветное и бесцветное

солнце”), где отрицательной коннотацией наделяется французский национальный триколор²⁰ как символ войны и смерти, тем самым дополняя отрицательно окрашенную репрезентацию бледного цвета.

Что касается прилагательного “livide”, оно также обладает отрицательной коннотацией, как это можно видеть в антивоенном стихотворении “Cagnes-sur-Mer” (“Кань-сюр-Мер”):

Les bourreaux trouvent toujours des aèdes
et en première ligne des journaux aussi bien qu'aux
avant-postes de radio
des voix livides intrépides et autorisées
donnent de source sûre
les nouvelles toutes fraîches des tout derniers charniers
[10, p. 32–33]

Палачи всегда находят себе певцов
и на передовой газет, как и на
аванпостах радио
мертвенно-бледные, бесстрашные и разрешенные
голоса
из надежных источников передают
свежайшие новости о самых недавних мясорубках

В процитированном фрагменте эпитет “des voix livides” (“мертвенно-бледные голоса”), являющийся основой для комбинации звуковой и цветовой метафор, употребляется рядом с двумя другими эпитетами, обладающими априори положительным значением: “intrépides” (“бесстрашные”) и “autorisées” (“разрешенные”). Сочетание этих трех эпитетов создает эффект парадокса, где эпитет “intrépides” (“бесстрашные”) употреблен антифрастически и акцентирует отрицательную коннотацию бледного цвета, который передает идею лояльности журналистов к авторитарным режимам. Коннотация смерти, носителем которой является эпитет “livides” (“мертвенно-бледные”), усиливается за счет употребления лексем “bourreaux” (“палачи”) и “charniers” (“мясорубки”).

Таким образом, бледный цвет, передаваемый в текстах Превера прилагательными “blême” и “livide”, обладает отрицательным значением и передает идею страха, упадка и смерти. Оба эти прилагательных зачастую входят в состав двойных метафор, где цветовая семантика сочетается со звуковой, тем самым дополняя негативную коннотацию бледного цвета.

²⁰ О репрезентации французских государственных символов в творчестве Превера автором была опубликована статья “Языковая репрезентация государственной власти в творчестве Жака Превера” / О.А. Кулагина // Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака: Сборник статей по итогам VII международной конференции (21–25 марта 2022 года). М.: Издательство “Спутник+”, 2022. С. 246–252.

Подводя итог, подчеркнем, что семантика цветообозначений в текстах Превера варьируется от традиционной до индивидуально-авторской. Такие цвета, как зеленый и синий, обладают преимущественно положительным значением (синий цвет может приобретать отрицательную коннотацию в сочетании с бледным). В то же время, желтый, белый и бледный наделяются, как правило, отрицательным значением. Два цвета — красный и черный — обладают амбивалентной семантикой и, в зависимости от сочетания с другими цветами, могут символизировать как жизненную силу, так и разрушение и смерть.

Основными языковыми средствами, используемыми для передачи различных коннотаций цветowych метафор, являются антитеза, сравнение, метафорический эпитет, персонификация, повтор, антанаклазис, а также сочетания цветовой и звуковой метафор. Последний прием отличается наибольшей частотностью в произведениях Превера и призван дополнительно подчеркнуть значение того или иного цвета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Aurouet C., Compère D., Gasiglia-Laster D., Laster A. Pourquoi commenter Prévert? Jacques Prévert “Frontières effacées”. Actes des “Journées Internationales Jacques Prévert” les 11, 12 et 13 décembre 2000 à l’Université Paris III. Sorbonne-Nouvelle. Lausanne: Éditions L’AGE D’HOMME, 2003. P. 7–16.
2. Haudiquet Ph. Jacques Prévert, la poésie et le cinéma. Image et son. 1965. № 189. URL: <https://www.marcelcarne.com/la-bande-a-carne/jacques-prevert/1965-jacques-prevert-la-poesie-et-le-cinema-par-p-haudiquet-image-et-son/>
3. Naindouba V. Le surréalisme poétique et la marge de liberté dans *Paroles* de Jacques Prévert. Akofena. 2021. № 004. Vol. 1. P. 461–472.
4. Poujol J. Jacques Prévert ou le langage en procès. The French Review. 1958. Vol. 31, № 5. P. 387–395.
5. Weisz P. Langage et Imagerie Chez Jacques Prévert. The French Review. Special Issue. 1970. Vol. 43. № 1. P. 33–43.
6. Pastoureau M., Simonnet D. Le petit livre des couleurs. Paris: Éditions du Panama, 2005.
7. Prévert J. Choses et autres. Paris: Éditions Gallimard, 2011.
8. Prévert J. Paroles. Paris: Éditions Gallimard, 2011.
9. Prévert J. Fatras. Paris: Éditions Gallimard, 2007.
10. Prévert J. La pluie et le beau temps. Paris: Éditions Gallimard, 2011.

11. *Prévert J.* La cinquième saison. Paris: Éditions Gallimard, 2007.
12. *Prévert J.* Grand Bal du Printemps suivi de Charms de Londres. Paris: Éditions Gallimard, 2011.
13. *Prévert J.* Histoires et d'autres histoires. Paris: Éditions Gallimard, 2012.
14. *Prévert J.* Soleil de nuit. Paris: Éditions Gallimard, 2007.
15. *Kaspi A.* Les Métiers des Juifs. Archives Juives. 2000. № 33 (2). URL: <https://isdistribution.com/BookDetail.aspx?aId=54986>
16. Dictionnaire de français Larousse. URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>
17. *Krautter Ph.* Le bestiaire de la Bible: le cheval, instrument de Dieu. Aleteia, 12.06.2019. URL: <https://fr.aleteia.org/2019/06/12/le-bestiaire-de-la-bible-le-cheval-instrument-de-dieu/>

Дата поступления материала в редакцию: 25 августа 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 7 ноября 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on August 25, 2022

Revised on November 7, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024640-0

“Отцы и дети” И. С. Тургенева в США: первые впечатления

© 2023 г. О. Д. Тюняева

Аспирант кафедры истории русской литературы
филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51
tyunuaeva@list.ru

Резюме. Статья посвящена первому переводу романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” на английский язык, сделанному американским дипломатом Ю. Скайлером и изданному в США в 1867 г. В предисловии сообщалось, что перевод был сделан с языка оригинала, однако есть причины в этом усомниться. В статье приводятся суждения по этому поводу американских критиков. Отвечая на их упреки, Скайлер признавал, что иногда обращался к французскому переводу, изданному в 1863 г., но считал это допустимым, поскольку он был выполнен самим Тургеневым (совместно с Луи Виардо). Сопоставление некоторых фрагментов двух переводов позволяет сделать вывод, что к французской версии романа Скайлер обращался чаще, чем к русской. На это же указывает транслитерация имен собственных, калькирование некоторых оборотов и полная идентичность примечаний с французской версией. Другая проблема, затронутая в статье, касается вопроса о рецепции “Отцов и детей” в переводе Скайлера его соотечественниками. После “Записок охотника”, имевших успех в США благодаря актуальности в то время темы рабства (крепостного права), в новом произведении Тургенева американские читатели ожидали снова увидеть насущные для себя проблемы. Однако вместо этого перед ними предстал, как они посчитали, просто хорошо сделанный текст. Американская критика оценила художественные достоинства “Отцов и детей”, но воссозданные в романе реалии русской жизни и сложная проблематика романа оказались недопонятыми ею и в целом чуждыми для американской аудитории.

Ключевые слова: Тургенев, “Отцы и дети”, Юджин Скайлер, перевод, роман, Америка, США.

Для цитирования: Тюняева О.Д. “Отцы и дети” И.С. Тургенева в США: первые впечатления // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 79–86. DOI: 10.31857/S160578800024640-0

Ivan S. Turgenev’s “Fathers and Sons” in the USA: First Impressions

© 2023 Olga D. Tyunuaeva

Postgraduate student of the Department of the History of Russian Literature
at the Faculty of Philology
of the Lomonosov Moscow State University,
1 bld. 51 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
tyunuaeva@list.ru

Abstract. The article considers the first translation of Ivan S. Turgenev’s novel “Fathers and Sons” into English, made by the American diplomat Eugene Schuyler and published in the USA in 1867. The Preface reported that the translation was made from the original language, but there are reasons to doubt this. The article presents the opinions of American critics on this issue. In response to their reproaches, Schuyler admitted that he sometimes referred to the French translation published in 1863, but considered this acceptable, since it was carried out by Turgenev himself (together with Louis Viardot). A comparison of some fragments of the two translations allows us to conclude that Schuyler addressed the French version

of the novel more often than the Russian one. This is also indicated by the transliteration of proper names, the tracing of some turns and the complete identity of the notes with the French version. Another problem raised in the article concerns the issue of the reception of “Fathers and Sons” in Schuyler’s translation by his compatriots. After the “Sketches of a Hunter” (a.k.a. “A Sportsman’s Sketches”), which were successful in the United States due to the relevance of the topic of slavery (serfdom) at that time, American readers expected to see urgent problems again in Turgenev’s new work. However, instead, what they thought was just a well-made text appeared before them. American critics appreciated the artistic merits of “Fathers and Sons”, but the realities of Russian life and the complex of problems set forth by the novel turned out to be quite alien to the American audience and did not strike a chord with them.

Key words: Turgenev, “Fathers and Sons”, Eugene Schuyler, translation, novel, America, USA.

For citation: Tyunuaeva, O.D. “*Otsy i deti*” I.S. Turgeneva v SShA: pervyie vpechatleniya [Ivan S. Turgenev’s “Fathers and Sons” in the USA: First Impressions]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 79–86. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024640-0

На протяжении всей жизни И.С. Тургенев проявлял живой интерес к литературе и культуре США. Он был лично знаком с рядом литераторов Нового Света, среди них Я. Бойсен, Ш. Андерсон, У.Д. Хоуэллс и Г. Джеймс. В американской литературной среде произведения Тургенева вызвали большой интерес. Проблема “Тургенев и США” неоднократно поднималась в отечественном и зарубежном литературоведении. Среди отечественных исследователей стоит назвать имена М.П. Алексеева [1], Б.А. Гиленсона [2], Н.А. Николюкина [3]. Обращались к данной проблеме и зарубежные исследователи: Р. Джеттман [4], Д. Петерсон [5], Д. Корн [6] и др.

Началом знакомства с творчеством русского писателя стали первые переводы отдельных рассказов из цикла “Записки охотника”, которые появились в Америке еще в середине 1850-х годов. Впервые немецкий перевод нескольких рассказов появился в США в 1853 г., а затем, на следующий год, и французский перевод. Первый увидел свет в воскресном приложении к газете “New Yorker Herald: Morgenblatt” – “New Yorker Revue”. Подтверждением этому факту служит письмо А.И. Герцена к М.К. Рейхель от 29–30 (17–18) сентября 1853 г.: «В Америке в “Revue” немецком переведены Тургенева рассказы охотника» [7, с. 120]. Однако документального подтверждения данной публикации обнаружено не было [3, с. 77]. Но уже в следующем 1854 г. вышел французский перевод отдельных рассказов цикла – в американских журналах “The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science and Art” и “Graham’s American Monthly Magazine of Literature and Art”. Отрывки из рассказов “Хорь и Калиныч”, “Бурмистр”, “Два помещика”, “Певцы”, “Бежин луг” были с интересом восприняты в читательской среде США, отчасти потому, что социальная

проблема – а именно ситуация рабства – была хорошо знакома представителям обеих стран.

К 1870-м годам интерес к Тургеневу не ослабевает. Современники отмечали, что ему даже удалось создать “нечто вроде маленькой школы в среде американских романистов” [8, с. 329]. В США при жизни писателя издаются переводы романов “Отцы и дети” – в 1867 г., “Дым” – в 1872 г., “Дворянское гнездо” (под заглавием “Liza”) и “Рудин” – в 1873 г., “Новь” – в 1877 г. [9, p. 17].

Первым с романным творчеством Тургенева читателей США познакомил Юджин Скайлер. В 1867 г. он издал перевод романа “Отцы и дети”, выполненный, по его утверждению, с позволения автора и с языка оригинала. В тургеневедческой литературе эти утверждения обычно не подвергаются сомнению, однако подход Скайлера к переводу и популяризации романа Тургенева позволяет в этом усомниться.

Информация о Юджине Скайлере (1840–1890) есть во многих американских источниках (см.: [10]; [4]; [6]). Он был сыном известного предпринимателя и политика Д.В. Скайлера и очень разносторонним человеком. Сфера его интересов необыкновенно широка: от истории и культуры до географии разных стран и регионов. Скайлер активно изучал иностранные языки, долгое время провел в качестве дипломата в России и Турции, путешествовал по Средней Азии, писал статьи на различные темы, в том числе и для географического общества США.

Учился будущий дипломат в Йельском университете, который окончил с отличием в 1859 г. Он стал одним из первых выпускников американского университета, получивших степень PhD [10, p. 34]. Позже изучал юриспруденцию в Колумбийском университете и в начале 1860-х годов

имел адвокатскую практику в Нью-Йорке, но довольно скоро оставил это занятие и принялся писать для журнала "The Nation" [10, p. 35], поскольку мечтал о карьере литератора. Во время гражданской войны в США, в сентябре 1863 г., русская военно-морская эскадра длительное время находилась в гавани Нью-Йорка, чтобы продемонстрировать Великобритании поддержку Россией президента Линкольна и Северных штатов. Ведь Великобритания, поддерживающая Южные штаты, была недавним противником Российской империи в Крымской войне. Довольно скоро Скайлер познакомился с офицерами русского флагманского корабля "Александр Невский", которые вдохновили его изучать русский язык. Один из этих офицеров подарил тогда Скайлеру роман "Отцы и дети", который совсем недавно вышел в Москве. Считается, что его первым учителем русского языка стал русский священник – вероятно, капеллан того самого флагмана [10, p. 36]. Вскоре Скайлер решил перевести "Отцов и детей" на английский язык. Его выбор легко объясним: Тургенев уже был знаком широкому кругу американских читателей благодаря "Запискам охотника", но пока не был им известен как романист.

В те годы в США активно развивалось издательское дело. Скайлеру не составило труда заинтересовать своим проектом издателей. Перевод романа Тургенева был опубликован в Нью-Йорке в 1867 г. издательством "Leypoldt and Holt". На титульном листе значилось: "translated from the Russian with the Approval of the Author by Eugene Schuyler" [11] ("Переведено с русского <языка> с одобрения автора Юджином Скайлером"). Вероятно, перед началом работы Скайлер действительно обратился к Тургеневу с просьбой разрешить перевод романа и получил одобрение последнего¹.

Своему переводу он предпослал предисловие [11, p. 3–8], в котором представил краткий обзор истории русской литературы, начиная со второй половины XVIII в. Это, по мысли Скайлера, было необходимо для понимания романа. Он кратко упоминает о том, что во времена Екатерины Великой в России преобладали придворные поэты и писатели, которые подражали европейским образцам [11, p. 3]. Эта литература, по его словам, была скучной и не представляла особой ценности. Даже Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, как замечает Скайлер, сегодня мало читают в России,

хотя первый был одним из создателей русской прозы, а второй обладал большим поэтическим даром [11, p. 3].

Первым истинно национальным русским писателем Скайлер считает А.С. Пушкина [11, p. 4]. Он говорит о его репутации как "русского Байрона", сравнивает "Евгения Онегина" ("роман о современной русской жизни", как он его называет) с "Дон Жуаном" Дж.Г. Байрона и упоминает другие произведения – "Руслан и Людмила", "Цыганы", "Борис Годунов", "Капитанская дочка". Об интересе Пушкина к истории Скайлер говорит отдельно, замечая, что поэт стал придворным историографом и интересовался фигурой Петра Великого. Замечание это особенно любопытно в свете интересов самого Скайлера: в конце жизни он напишет большой исторический труд о нем (Peter the Great, Emperor of Russia, A Study of Historical Biography. New York: Charles Scribner's Sons, 1884. Vol. 1–2).

Николаевская эпоха, как пишет Скайлер, была ознаменована ужесточением цензуры, но именно в этот период появляется другой великий русский писатель – М.Ю. Лермонтов. Скайлер упоминает лишь одно его произведение – роман "Герой нашего времени", являющийся, по его мнению, автобиографическим [11, p. 4].

Н.В. Гоголя он считает своеобразным последователем Пушкина и Лермонтова [11, p. 4], а среди основных тем его творчества называет административные правонарушения и злоупотребления чиновников, указывая, в частности, на комедию "Ревизор". Далее Скайлер кратко пересказывает сюжет "Мертвых душ", называя их романом и сопоставляя с романами Ч. Диккенса. Гоголю удалось "основать", как отмечает Скайлер, ту школу "создателей русского романа", среди которых он выделяет Л.Н. Толстого, В.А. Соллогуба, Д.В. Григоровича, И.А. Гончарова и А.Ф. Писемского [11, p. 5]. Он не называет эту школу "натуральной", но представление о том, что все эти писатели объединены некими общими идеями, у него есть. И главой этой школы Скайлер считает именно Тургенева.

Вторая часть предисловия полностью посвящена Тургеневу. Скайлер приводит сведения о биографии писателя (в основном верные) и среди прочего упоминает его первую опубликованную поэму "Параша", хотя сам едва ли был с ней знаком, о чем свидетельствует неверная транслитерация названия (Panasha) и указание на то, что это был небольшой сборник стихов [11, p. 5]. И конечно же, вспоминает "Записки охотника", которые в тот период, когда в американском обществе

¹ Письма Тургенева к Скайлеру на данный момент не опубликованы. Вероятно, они будут опубликованы в 18-м томе писем Полного собр. соч. и писем Тургенева в 30 т.

нарастало недовольство существованием рабства в Южных штатах, привлекали читателей своим антикрепостническим пафосом. Сравнивая успех “Записок охотника” Тургенева и “Хижина дяди Тома” Г.Э. Бичер-Стоу, Скайлер пишет: “It was somewhat strange that in two great countries, so diverse in character and then so utterly unacquainted with each other, the appearance of a popular novel should be raised to the importance of a public event. On two opposite sides of the world, in two countries popularly said, the one to be the freest, the other the most despotic government on the globe, human slavery received most vigorous blows dealt in a similar way” [11, p. 6] (“Казалось странным, что в двух великих странах, столь различных по своему складу и совершенно незнакомых друг с другом, выход романа о народной жизни стал общественным событием большой важности. В противоположных частях света, в двух странах, одна из которых считалась самой свободной, а другая — самой деспотичной в мире, рабству человека был нанесен одинаково сильный удар” [12, с. 80]). Подобное сравнение было в то время распространено: например, в предисловии к первому французскому переводу “Записок охотника” Э. Шаррьер также сравнивал их с романом Бичер-Стоу [13, p. 15].

Желая дать полное представление о творчестве Тургенева, Скайлер называет еще ряд его повестей и романов, уже переведенных в Европе, но пока неизвестных американским читателям, — “Фауст”, “Ася”, “Муму”, “Первая любовь”, “Дворянское гнездо”, “Накануне”.

Переходя непосредственно к “Отцам и детям”, Скайлер прежде всего говорит о конфликте поколений, отмечая, что, хотя сам по себе он является вневременным, раскрывается в романе исключительно на материале русской действительности, и упоминает о спорах в России вокруг этого романа. Каждое поколение, замечает переводчик, с удовольствием узнавало другое поколение в романе, но отказывалось принимать портрет собственного и считала его оскорблением. Критики-демократы видели в образе нигилиста Базарова карикатуру на молодое поколение. Не вдаваясь в подробности понятия “нигилизм”, Скайлер говорит, что оно стало в России знаком времени и русское правительство теперь использует его для обозначения всех революционеров и ультра-демократов. Однако, пишет далее Скайлер, чем больше книгу ругают, тем больше ее читают, и так произошло и с романом Тургенева, который стал очень популярным в России и Европе.

В заключение переводчик пишет о своей попытке передать дух этого текста (“the flavor of the

original” [11, p. 8]) и просит у читателей извинения — ведь это его первый опыт перевода. Сожалеет он только об одном: ему не удалось передать очень важное в русском языке различие местоимений “ты” и “вы” (в переводе используется только “you”).

В целом Скайлер дает читателям достаточное для начала общее представление о творчестве Тургенева. Другое дело, что его информация, как можно предположить, была вторичной. Так, давая оценки конфликту поколений в романе и реакции на него в России, Скайлер отчасти следует за предисловием Мериме к французскому переводу романа 1863 г. (выполненному самим Тургеневым вместе с Луи Виардо). Приведем лишь один пример:

<i>Мериме</i>	<i>Скайлер</i>
“Les pères ont réclamé, mais les enfants, encore plus susceptibles, ont jeté les hauts cris en se voyant personnifiés dans le positif Bazarof” ² [14, p. 4].	“The fathers protested, and the sons were enraged to see themselves personified in the positive Bazarof” [11, p. 7].

Подобные текстовые пересечения свидетельствуют о том, что Скайлер пользовался французским переводом романа. Возникает вопрос, действительно ли он переводил с языка оригинала или же в основном с французского? Такие сомнения возникали и у его современников (см. ниже), но специального внимания исследователей этот вопрос не привлекал, хотя и затрагивался в ряде статей ([10, p. 40]; [6, p. 465–466]). В рамках данной статьи ограничимся лишь некоторыми наблюдениями.

Сам перевод выполнен близко к тексту. Развернутых примечаний, объясняющих особенности русской действительности, Скайлер не делает, но иногда кратко поясняет некоторые реалии (например, слово “лапоть” — “A shoe of birch bark” [11, p. 246], т.е. ботинок из бересты) и отмечает русские пословицы. И практически все такие примечания идентичны имеющимся во французском переводе. Например, различие между борщом и щами поясняется следующим образом: “The first of these soups is prepared with cabbage, the second with beets” [11, p. 225]. Ср. во французском переводе: “Le premier de ces potages est préparé avec des choux, le second avec des betteraves” [14, p. 283] (“Первый из этих супов готовится из капусты,

² Перевести это можно так: “Отцы протестовали, а дети, еще более обидчивые, громко возопили, увидя свое воплощение в положительном Базарове”.

второй из свеклы"). И напротив, если в примечаниях к французскому переводу не отмечаются, например, пушкинские реминисценции, в том числе в финале романа (о "равнодушной природе"), то не отмечаются они и у Скайлера.

Однако в некоторых случаях примечания переводчика свидетельствуют о том, что он обращался именно к русскому тексту. Например, в X главе, где Павел Петрович в пылу спора с Базаровым начинает говорить "эфтим" вместо "этим".

— Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: "эфтим" и "эфто", хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — эфто, другие — эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами) [15, с. 47].

В тексте перевода Скайлера эта особенность речи Павла Петровича не передана, но зато есть примечание: "In the original *eftim* instead of *etim*" [11, p. 56]. Во французском переводе эта деталь не отмечена, а лишь сказано, что Павел Петрович намеренно неправильно произносил слова³.

Имена собственные в скайлеровском переводе переданы так же, как во французской версии, однако разделение на главы и количество глав — такие, как в подлиннике (28 глав), а не во французской версии, где только 26 глав. Однако можно предположить, что при работе над переводом Скайлер все-таки чаще обращался к французской версии романа, чем к оригиналу.

Перевод "Отцов и детей" не стал большим событием в литературной жизни США, но положил начало знакомству американских читателей с романом творчеством Тургенева и привлек внимание критики. Одним из первых в 1867 г. на него откликнулся американский литератор Чарльз Нортон [16, p. 328–329]. Прежде всего, он высоко оценил писательское мастерство Тургенева, обратив внимание на созданные автором запоминающиеся образы, драматизм конфликта, живые и яркие диалоги, и сделал следующее любопытное заключение об "Отцах и детях": "without

³ "— Je prétends prouver par ça, mon cher monsieur — (Paul, lorsqu'il se mettait en colère, employait certaines locutions familières, quoiqu'il sût fort bien qu'elles étaient défectueuses. Cette habitude remonte au règne de l'empereur Alexandre" [14, p. 77] ("Я этим хочу сказать, милостивый государь, — (Поль, когда сердился, употреблял некоторые фамильярные выражения, хотя хорошо знал, что они неправильные. Это была привычка, восходившая к царствованию императора Александра)" — перевод наш. — О.Т.).

being a work of genius, it is an exceedingly good novel" [16, p. 328] ("не будучи гениальным произведением, это чрезвычайно хороший роман"). Нортон отметил, что конфликт романа далек от американской жизни, но процессы, происходящие в России и описанные Тургеневым, оказывают влияние на всю европейскую цивилизацию. Поэтому, как считает критик, американскому читателю будет интересно ознакомиться с этим замечательным произведением, хотя глубоко оно едва ли его затронет.

В рецензии, опубликованной в журнале "The Nation"⁴, неизвестный критик отметил, что действие в романе развивается так стремительно, что читателю будет легче дойти до финала, нежели прервать чтение. Рецензент кратко описывает героев романа, приводит цитаты из текста, а в заключение пишет, что этот роман позволит узнать о России больше, чем какой-либо другой источник.

В первых рецензиях на роман Тургенева американские критики больше уделяли внимание технике письма, чем его глубинным смыслам. Перевод Скайлера при этом оценивался достаточно высоко. Нортон, например, писал, что перевод "в целом исполнен очень хорошо" ("on the whole very well executed") и "весь роман читается с легкостью и стилистическим своеобразием, присущим оригиналу" ("in great part, as the story advances, it reads almost with the freedom and idiomatic raciness of an original work" [16, p. 329]). Однако позднее появились и статьи с противоположным мнением. Так, спустя десять лет в том же журнале "The Nation" некая Клара Мартин обратилась с открытым письмом к редактору по поводу перевода Скайлера⁵. Она утверждала, что перевод выглядит фальшиво и примитивно, в отличие от французского, американская версия представлялась ей лишенной всякой художественности. (Отметим, что Скайлер действительно избегал напыщенности, и некоторые фразы в его переводе действительно выглядят слишком простыми и лаконичными.)

В Европе на перевод Скайлера в первую очередь обратила внимание английская критика, ведь это был первый перевод романа на английский язык [15, с. 457]. Сравнивая его с французской версией, английские журналисты подвергли сомнению тот факт, что перевод американца был сделан с языка оригинала. Лондонский журнал "The Saturday Review" 7 сентября 1867 г.

⁴ The Nation. 1867. Vol. 4. № 13 (June). P. 472–474.

⁵ The Nation. 1878. Vol. 26. № 16 (May). P. 322–323.

опубликовал небольшую рецензию на перевод Скайлера⁶, в которой прямо заявлялось, что большая его часть была сделана с французского, и приводились некоторые доказательства тому: в частности, отмечалась одинаковая транслитерация имен во французском и американском переводах. Сам роман Тургенева, по мнению рецензента, превосходен, но переводчик обвинялся в литературном подлоге.

На такое обвинение Скайлер не мог не ответить. В декабре того же 1867 г. в журнале “The Nation” он заявил, что большую часть текста перевел с русского, но, так как он был ограничен сроками, оговоренными в договоре с издателями, последние главы романа действительно перевел с французского. Однако французский перевод был выполнен самим автором, о чем тут же напомнил Скайлер, а кроме того, по его утверждению, и последние главы позже были сверены с оригиналом⁷.

Подобный “подлог” понятен: даже самому талантливому человеку для хорошего изучения языка требуется значительное время, а его у Скайлера просто не было. В 1867 г., через несколько месяцев после публикации в США его перевода “Отцов и детей”, он прибыл в качестве американского консула в Москву, где продолжил изучение русского языка и культуры, общался с представителями образованного общества, позднее переводил произведения Л.Н. Толстого. По дороге в Москву Скайлер 17 (29) сентября 1867 г. посетил в Баден-Бадене Тургенева, подарил ему несколько экземпляров своего перевода, а от него получил рекомендательные письма к Л.Н. Толстому, М.М. Стасюлевичу, Ф.И. Тютчеву, В.Ф. Одоевскому и Б.Н. Чичерину [17, с. 43].

Тургенев свое мнение об американском переводе “Отцов и детей” не высказывал, однако, поскольку он проявлял живой интерес к литературе и культуре Нового Света, ему несомненно было приятно узнать о том, что его роман вышел в Нью-Йорке. Недаром один экземпляр перевода Скайлера Тургенев посылает П.В. Анненкову [18, с. 37] и охотно дает переводчику рекомендательные письма.

Первые отклики на роман Тургенева в США, как показано выше, были довольно сдержанные. Критики отмечали, в первую очередь, его высокий художественный уровень. Только спустя десять лет после выхода скайлеровского перевода, Генри Джеймс, самый большой ценитель

творчества Тургенева в Америке XIX в., в статье “Иван Тургенев”, включенной позднее в сборник “Французские поэты и романисты” (1878), будет рассуждать о вневременном, философском значении изображенного в романе “Отцы и дети” конфликта поколений, актуального для любой эпохи и любого народа: “...the figures with which he has filled his foreground are, with their personal interests and adventures, but the symbols of the shadowy forces that are fighting for ever a larger battle — the battle of the old and the new, the past and the future, of the ideas that arrive with the ideas that linger. Half the tragedies in human history are born of this conflict; and in all that poets and philosophers tell us of it the clearest fact is still its perpetual necessity” [19, p. 275] (“Персонажи, которых писатель выводит на первый план, несмотря на их личные интересы и судьбы, являются всего лишь символами смутных сил, которые ведут извечную битву — старого и нового, прошлого и будущего, идей возникающих и идей уходящих. Половина трагедий в истории человечества порождена этим конфликтом, и судя по тому, что говорят нам об этом поэты и философы, самым ясным оказывается постоянная необходимость этой борьбы”. — Перевод наш — О.Т.).

Генри Джеймс оказался первым американским критиком, который попытался истолковать содержание романа “Отцы и дети”, его смысл. Первые же рецензенты перевода Скайлера актуального для себя содержания в романе не увидели, его проблематика их практически не занимала. Американской публике был представлен очень хорошо сделанный текст, который способен доставить удовольствие и отвлечь от скучной повседневности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алексеев М.П.* Мировое значение “Записок охотника” // “Записки охотника” И.С. Тургенева (1852–1952): Сб. статей и материалов. Орел: Орловская правда, 1955. С. 36–117.
2. *Гиленсон Б.А.* Тургенев в американской критике // Учен. записки Горьковского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия филологическая. Вып. 48: Русская литература. Горький, 1958. С. 99–107.
3. *Николюкин А.Н.* Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка. М.: Наука, 1987. 350 с.
4. *Gettman R.A.* Turgenev in England and America. Urbana: University of Illinois Press, 1941. 196 p.

⁶ Saturday Review. 1867. Vol. 24. № 14 (September). P. 322–323.

⁷ The Nation. 1867. Vol. 6. № 19 (Dec.). P. 496–498.

5. Peterson D. *The clement vision: Poetic realism in Turgenev and James*. Port Washington (N.Y.): Kennikat press, 1975. 157 p.
6. Korn D. Turgenev in Nineteenth Century America // *The Russian Review*. 1968. Vol. 27. № 4. P. 461–467.
7. Герцен А.И. Собр. сочинений: В 30 т. Т. 25: Письма 1853–1856 годов. М.: Наука, 1961. 534 с.
8. И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1983. 557 с.
9. Yachnin R., Stam D.H. *Turgenev in English: A Checklist of Works by and about him*. New York: The New York Public Library, 1962. 53 p.
10. Coleman M.M. Eugene Schuyler: Diplomat Extraordinary from the United States to Russia 1867–1876 // *The Russian Review*. 1947. Vol. 7. № 1. P. 33–48.
11. *Turgenev I.S. Fathers and Sons: A Novel / Translated from the Russian with the Approval of the Author by Eugene Schuyler*. New York: Leypoldt and Holt, 1867. 248 p.
12. Николукин А.Н. Литературные связи России и США: Становление литературных контактов. М.: Наука, 1981. 407 с.
13. *Tourgueniev I. Mémoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes / Traduits par Ernest Charrière*. Paris, 1854. 405 p.
14. *Tourgueniev I. Pères et enfants / Traduction d'Ivan Tourgueniev et Louis Viardot*, Paris: Charpentier. 1863. 312 p.
15. *Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 7. М.: Наука, 1981. 559 с.*
16. Norton Ch. Turgenev's "Fathers and Sons" // *North American Review*. 1867. Vol. 105. № 216 (July). P. 328–329.
17. *Летопись жизни и творчества И.С. Тургенева (1867–1870)*. СПб.: Наука, 1997. 222 с.
18. *Тургенев И.С. Полн. собр. сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 8. М.: Наука, 1990. 413 с.*
19. James H. Ivan Turgeneff // *James H. French Poets and Novelists*. London: Macmillan and Co, 1878. P. 269–320.
3. Nikolyukin, A.N. *Vzaimosvyazi literatur Rossii i SShA. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij i Amerika* [Interrelationships Between the Literatures of Russia and the USA. Turgenev, Tolstoy, Dostoevsky and America]. Moscow, Nauka Publ., 1987. 350 p. (In Russ.)
4. Gettman, R.A. *Turgenev in England and America*. Urbana, University of Illinois Press, 1941. 196 p.
5. Peterson, D. *The clement vision: Poetic realism in Turgenev and James*. Port Washington (N.Y.), Kennikat Press, 1975. 157 p.
6. Korn, D. Turgenev in Nineteenth Century America. *The Russian Review*, 1968, Vol. 27, No. 4, pp. 461–467.
7. Herzen, I.A. *Sobr. soch. v 30 t. T. 25: Pisma 1853–1856 godov* [Collected Works in 30 Vols. Vol. 25: Letters of 1853–1856]. Moscow, Nauka Publ., 1961. 534 p. (In Russ.)
8. *I.S. Turgenev v vospominaniyakh sovremennikov* [Turgenev in the Memoirs of Contemporaries]. Moscow, 1983. Vol. 2. 557 p. (In Russ.)
9. Yachnin, R., Stam, D.H. *Turgenev in English: A Checklist of Works by and about him*. New York, The New York Public Library, 1962. 53 p.
10. Coleman, M.M. Eugene Schuyler: Diplomat Extraordinary from the United States to Russia 1867–1876. *The Russian Review*, 1947, Vol. 7, No. 1, pp. 33–48.
11. Turgenev, I.S. *Fathers and Sons: A Novel. Translated from the Russian with the Approval of the Author by Eugene Schuyler*. New York, Leypoldt and Holt, 1867. 248 p.
12. Nikolyukin, A.N. *Literaturnyje svyazi Rossii i SShA* [Literary Relations of Russia and USA: The Formation of Literary Contacts]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 407 p. (In Russ.)
13. Tourgueniev, I. *Mémoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes. Traduits par Ernest Charrière*. Paris, 1854. 405 p. (In French)
14. Tourgueniev, I. *Pères et enfants. Traduction d'Ivan Tourgueniev et Louis Viardot*. Paris, 1863. 312 p. (In French)
15. Turgenev, I.S. *Poln. sobr. soch. i pisem v 30 t. Sochineniya v 12 t. T. 7* [Complete Works and Letters in 30 Volumes. Vol. 7]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 559 p. (In Russ.)
16. Norton, Ch. Turgenev's Fathers and Sons. *North American Review*, 1867, Vol. 105, No. 216 (July), pp. 328–329.
17. *Letopis zhizni i tvorchestva I. S. Turgeneva (1867–1870)* [Chronicle of the Life and Work of I.S. Turgenev

REFERENCES

1. Alekseev, M.P. *Mirovoe znachenie "Zapisok okhotnika"* [The Worldwide Significance of "Sketchers of a Hunter"]. *"Zapiski okhotnika" I.S. Turgeneva (1852–1952). Sbornik statej i materialov* ["Sketchers of a Hunter" by I.S. Turgenev: Articles and Materials]. Orel, 1955, pp. 36–117. (In Russ.)
2. Gilenson, B.A. *Turgenev v amerikanskoj kritike* [Turgenev in American Criticism]. *Uchenyje zapiski Gorkovskogo gos. un-ta im. N. I. Lobachevskogo*.

- (1867–1870)]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1997. 222 p. (In Russ.)
18. Turgenev, I.S. *Poln. sobr. soch. i pisem v 30 t. Pisma v 18 t. T. 8: Iyun 1867 – iyul 1868* [Complete Works and Letters in 30 Volumes. Vol. 8: June of 1867 – July of 1868]. Moscow, Nauka Publ., 1990. 413 p. (In Russ.)
19. James, H. Ivan Turgeneff. James, H. *French Poets and Novelists*. London, Macmillan and Co, 1878, pp. 269–320.

Дата поступления материала в редакцию: 1 августа 2022 г.
Статья поступила после рецензирования и доработки: 9 октября 2022 г.
Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.
Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on August 1, 2022
Revised on October 9, 2022
Accepted on December 15, 2022
Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024632-1

Два перевода “Истории Пугачева” А. С. Пушкина на английский язык

© 2023 г. К. С. Александрова

Соискатель ученой степени кандидата филологических наук
кафедры зарубежной журналистики и литературы
факультета журналистики Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 1
kseniaalexandrova@yandex.ru

Резюме. Статья посвящена переводам “Истории Пугачева” А.С. Пушкина на английский язык. На историческое сочинение русского поэта обратили внимание довольно поздно, когда практически весь остальной массив пушкинского творчества уже был переведен. Насколько нам известно, всего “Историю” на английский язык переводили дважды (Эрл Сэмпсон и Пол Дебрецени). Оба перевода были впервые опубликованы в 1983 году и не так давно переиздавались (два раза – перевод Дебрецени, один раз – перевод Сэмпсона), что свидетельствует об интересе англоязычной аудитории к пушкинскому произведению в этот период. Автор приводит общую информацию об обеих работах, рассматривает их основные отличия, разбирая конкретные примеры, выделяет интересные со стилистической точки зрения места, отмечает некоторые ошибки и неточности, связанные иногда с превратным пониманием текста, но в основном с недостаточным знанием фактической базы (конкретно – топографических и исторических деталей, имен). Несмотря на то что и в той, и в другой работе есть огрехи (что досадно, поскольку Пушкин старался придать ей научный характер), в общем и целом оба перевода выполнены на достойном уровне, в них есть замечательные места, достойные того, чтобы быть отмеченными, и они вполне передают особенности пушкинского текста, его стиль, простой и ясный язык. Многие отличия обусловлены разницей в подходе, которая, возможно, определяется целями переводчиков, а конкретно – ориентацией на разную аудиторию. Основная стратегия Дебрецени – доместикация, тогда как Сэмпсон склонен к форенизации. Оба используют переводческие комментарии, однако Дебрецени не сохранил пушкинскую систему примечаний, комментарии к изданию Сэмпсона более обширные и детальные.

Ключевые слова: Пушкин, переводы, “История Пугачева”, английский язык, сравнение.

Для цитирования: Александрова К.С. Два перевода “Истории Пугачева” А.С. Пушкина на английский язык // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 87–93. DOI: 10.31857/S160578800024632-1

Two English Translations of Alexander Pushkin’s “A History of Pugachev”

© 2023 Kseniia S. Aleksandrova

Applicant of the academic degree of Candidate of Philological Sciences
of the Department of Foreign Journalism and Literature
at the Faculty of Journalism
of the Lomonosov Moscow State University,
9 Bld. 1 Mokhovaya Str., Moscow, 125009, Russia
kseniaalexandrova@yandex.ru

Abstract. The article considers English translations of Alexander Pushkin’s “A History of Pugachev”. The English attention to the historical work of the Russian poet seems rather belated: translators turned to the text when the majority of Pushkin’s writings had appeared to be translated. The complete text of the

“History” was translated into English twice – by Earl Sampson and Paul Debrezdeny. Both translations were first published in 1983 and later republished (we know of two reprints of Debrezdeny’s work and one of Sampson’s), which speaks for the popularity of the “History” with the English-speaking audience of the time. This article provides general information about both translations, compares and contrasts them, highlighting stylistically noteworthy passages, notes some inaccuracies springing from the lack of knowledge of the cultural nuances (e.g., topographical and historical details, names). Apart from factual distortions contained in both translations (which is unfortunate, since Pushkin approached his “History of Pugachev” as scholarly), these works are quite praiseworthy: they offer brilliantly rendered passages, attempting to convey the features of Pushkin’s style. As for the differences between two English texts, they seem to be prompted by targeting different audiences. Debrezdeny’s main strategy seems to be domestication, while Sampson is prone to foreignization. Both use translational commentaries with additional information for English readers; however, Debrezdeny did not retain Pushkin’s system of notes, while Sampson’s commentaries are more extensive and detailed.

Key words: Pushkin, translations, “A History of Pugachev”, English, comparison.

For citation: Aleksandrova, K.S. *Dva perevoda “Istorii Pugacheva” A. S. Pushkina na anglijskij yazyk* [Two English Translations of Alexander Pushkin’s “A History of Pugachev”]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 87–93. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024632-1

“История Пугачева” – сочинение зрелого А.С. Пушкина, уже имевшего опыт исторических исследований при работе над художественными произведениями с исторической основой (“Борисом Годуновым”, “Арапом Петра Великого”, “Полтавой”). Однако труд, посвященный пугачевскому бунту, – нехудожественная проза, и его язык имеет соответствующие особенности, помимо того, что ему присущи свойственные стилю Пушкина стройность, изящество, ясность и простота. Интересно проследить, как это отражается в переводе на английский язык и какие отличия имеют известные нам переводы, есть ли в них существенные разночтения, как они соотносятся с авторским текстом, тем более, что, насколько нам известно, не существует работ, где бы их сравнивали, или научных статей, разбирающих какой-либо из этих переводов.

“История Пугачева” переведена дважды и, как это ни странно, оба имеющихся перевода были опубликованы в один год. Один из них сделан Э. Сэмпсоном [1], а другой – П. Дебрецени [2]. Позже их переиздавали: первый – в 2001 г. [3], второй – в 2002 г. [4] в составе собрания сочинений (с предисловием, написанным историком Полом Дьюксом) и в 2012 г. [5] отдельно.

Язык “Истории Пугачева” лаконичен и несколько более сух, чем, например, язык пушкинской путевой прозы или писем (хотя рукопись, изначально представленная Николаю I для цензуры, еще больше отличалась “сухостью изложения, ученым тоном беспристрастного историка” [6, с. 353]). В “Истории” меньше образительно-выразительных средств, различных анекдотов, описаний природы и т.д. Это, конечно,

связано с жанром и с тем, что Пушкин пытался придать своему труду научный характер, каковой он и имеет, с некоторыми оговорками, несмотря на то, что произведение читается легко и увлекательно (о работе поэта с источниками см. [7]–[12], о сложностях выхода книги в печать в связи с обнародованием исторических материалов – [13]). Тем не менее, в “Истории Пугачева” также сильно художественное начало (подробнее о стилистических особенностях произведения см. [14]–[17]).

В этой работе мы по большей части сравниваем первое издание перевода Сэмпсона и издание перевода Дебрецени в составе собрания сочинений, анализируя наиболее отличающиеся отрывки или яркие, интересные с художественной точки зрения места, выявляя ошибки и неточности.

В первую очередь, в названии бросается в глаза выбор разных артиклей – определенного у Сэмпсона и неопределенного у Дебрецени (изначально; в собрании сочинений вообще отказались от артикля). Учитывая специфику произведения, можно предположить, что неопределенный артикль или его отсутствие подчеркивают беспристрастный и отстраненный взгляд автора, научный характер “Истории”, но, конечно, однозначно сказать, что имели в виду Сэмпсон и Дебрецени, нельзя.

В имеющихся переводах вообще много разночтений формального толка (связанных с передачей имен, топонимов, разных названий и т.д. – то есть фактической информации). Некоторые из них не играют роли (допустим, у Сэмпсона – “the Urals” [1, p. 78], у Дебрецени – “the Ural Mountains” [4, p. 96], хотя второе

и придает несколько более формальный оттенок) или обусловлены, например, разными системами транслитерации, которые используют авторы ("Yaik" [4, p. 27] – "Yaik" [1, p. 11] и пр.), связаны с особенностями передачи фонетических нюансов (генерал-майора Кара Дебрецени называет Карг [4, p. 57 и далее], а Сэмпсон – Karg [1, p. 39 и далее] и т.д.).

Другие примеры, хоть и не несут в себе принципиальной разницы, но влияют на восприятие. Сэмпсон гораздо более склонен к использованию транскрипции, он часто оставляет русское звучание, что помогает сохранять своеобразие, но может немного затруднить понимание неподготовленному читателю (например, название болезни "черная немочь" [18, с. 53] у Сэмпсона переведено как "chernaya nemoch" [1, p. 56], а у Дебрецени – калькой с добавлением "so-called Black Death" [4, p. 74]). Исключение составляют некоторые топонимы – например, "Pletskii Gorodok" [4, p. 41] у Дебрецени и "the town of Pletsk" [1, p. 23] у Сэмпсона. Такого рода названия повторяются неоднократно.

Перевод топонимов несет в себе ряд неточностей. Так, у Сэмпсона видим "Verkhny Lomov and Nizhny Lomov" [1, p. 101], а у Дебрецени – почему-то "Verkhne-Lomov and Nizhne-Lomov" [4, p. 119] (у Пушкина здесь "Верхний и Нижний Ломов" [18, с. 95]). Другой случай, когда Дебрецени допустил неточность, – "Sakmara" [4, p. 47] (у Сэмпсона – "Sakmarsk" [1, p. 29]). Перевод последнего корректнее, так как у Пушкина речь идет о Сакмарском городке, а Сакмара – название реки. Похожая ситуация с "(Камышенкой)" [18, с. 95]: у Сэмпсона – "(Kamyshenka)" [1, p. 101], у Дебрецени – "(Kamyshin)" [4, p. 119]. Непонятно, почему Дебрецени воспользовался названием реки и не сохранил русское звучание топонима – как сделал это в случае с Илецким городком.

Возвращаясь к случаям, когда отсутствуют эквиваленты, можно сказать, что переводчики решают задачу по-разному. В целом, как мы видим, в поиске адекватных замен Дебрецени гораздо чаще обращается к экспликациям.

Если мы обратимся к понятиям, обозначающим реалии русской жизни, то обнаружим уже обозначенную тенденцию – попытку сохранения фонетического своеобразия русского языка у Сэмпсона. Однако здесь она подкреплена, по-видимому, и другими мотивами. Это касается, например, перевода должностей, званий и т.д. Сравним: у Сэмпсона – "sotniks, piatidesiatniks" [1, p. 23], у Дебрецени – лексико-семантические замены

"Lieutenants, Sublieutenants" [4, p. 40]; у Сэмпсона – "desiatniks" [1, p. 36], у Дебрецени – "each corporal" [4, p. 55]. Наверняка, Сэмпсон в этом случае стремился сохранить национальный колорит, но, должно быть, его выбор обусловлен в первую очередь тем, что эквивалента в английском языке нет. К сожалению, варианты Дебрецени отражают только иерархию, но не несут в себе точной, конкретной информации, содержащейся в русских историзмах.

Сходную проблему мы можем наблюдать не только в переводе названий должностей. Например, видим у Дебрецени "people of the third estate" [4, p. 45], у Сэмпсона в этом случае – "raznochintsy" [1, p. 27]. Конечно, не совсем понятно, по какой аналогии в этом случае Дебрецени решил обозначить разночинцев именно как третье сословие, тем более, что, строго говоря, это вообще не сословная категория. Видимо, он просто хотел сделать текст максимально простым для англоязычного читателя. Дебрецени, однако, сохраняет другие понятия, например, единицы измерения, которые адаптирует под англоязычную аудиторию Сэмпсон (например, "that was frozen an arshin deep" [4, p. 88] – "which was frozen to a depth of over two feet" [1, p. 70]).

Есть нюансы и в переводе названий органов государственной власти. К примеру, "Военная коллегия" [18, с. 13 и далее] у Дебрецени – "War College" [4, p. 31], у Сэмпсона – "War Ministry" [1, p. 15]. Оба словосочетания обозначают органы государственной власти, но между College (коллегией) и Ministry (министерством) есть формально-организационные различия, к тому же в Российской империи коллегии были заменены министерствами лишь в 1802 году. Здесь перевод Дебрецени представляется более точным, хотя для перевода слова "коллегия" можно использовать и другие синонимы, не имеющие сильно расходящихся по смыслу с оригиналом вариантов перевода (College как учебное заведение) – например, Collegium, Board, Chamber.

В другом случае, пожалуй, вариант Сэмпсона лучше передает оригинал. Речь идет о "Саткинском заводе" [18, с. 72]. У Дебрецени это "the Satkin works" [4, p. 98], у Сэмпсона – "the Satka factory" [1, p. 79]). Завод назван по месту его нахождения – городу Сатка.

Стоит отметить досадную ошибку в написании имени майора Дуве [18, с. 76], упоминаемого Пушкиным (у Сэмпсона – "Major Douvais" [1, p. 87], у Дебрецени – "Major Duve" [4, p. 105]). К сожалению, Сэмпсон, вероятно, не уточнил, о каком именно майоре идет речь, подумав, что это

французская фамилия. В действительности в подавлении пугачевского восстания участвовал Отто Иванович фон Дубе [19], так что корректно написание, использованное Дебрецени.

У Дебрецени, однако, искажен смысл в переводе фразы “Между ими находился казацкий сотник и депутат Падуров” [18, с. 39]: “One of these people was a Cossack centurion, and another was Padurov, a former delegate to the Legislative Commision” [4, p. 60]. Вероятно, он считал, что речь идет о разных людях, тогда как и сотником, и депутатом являлся Падуров (у Сэмпсона в этом случае: «Among them was Padurov, a Cossack sotnik and a “deputy”» [1, p. 42]). Еще одна неточность связана с “разбитием Кара и Фреймана” [18, с. 43]. У Дебрецени: “The defeat at Kar Freymann...” [4, p. 65]; у Сэмпсона: “The defeat of Kar and Freymann...” [1, p. 47]. Конечно, Кар и Фрейман — это два разных человека, а не название места.

Что касается других стилистических нюансов перевода, они, безусловно, есть, но не несут в себе такого однозначного контраста. В основном они затрагивают выбор слов (например, Хлопушу в описании третьей главы Дебрецени называет “bandit” [4, p. 119], а у Сэмпсона это “brigand” [1, p. 101]; у Дебрецени — “issues” [4, p. 27], у Сэмпсона — “flows” [1, p. 11]; у Сэмпсона — “Holy Week” [1, p. 72], у Дебрецени — “Passion Week” [4, p. 89] и т.д.). Вызывает вопрос, почему в третьей главе Дебрецени заменяет “вино” [18, с. 34] на “Vodka” [4, p. 55] (у Сэмпсона — “Wine” [1, p. 36]). Видимо, таким образом он пытался придать тексту национальный колорит, но это расхождение с оригинальным текстом кажется неоправданным.

Иногда переводчики немного по-разному расставляют акценты в предложениях, меняют смысловые оттенки, например, у Дебрецени: “What had set it off was another event of equal importance...” [4, p. 31]; у Сэмпсона: “A no less important event gave rise to this...” [1, p. 15] (перевод Сэмпсона точнее передаёт текст Пушкина: “Присшествие, не менее важное, подало к оному повод...” [18, с. 14]).

Посмотрим, как переведён отрывок, касающийся женитьбы Пугачева на Устинье Кузнецовой. У Дебрецени: «He went to ask for her hand. Her amazed mother and father replied, “Have mercy on us, Sovereign! Our daughter is neither princess nor duchess: how could she be your wife? And in any case, how could you marry while the Empress, mother to us all, is still alive?”» [4, p. 80]. У Сэмпсона этот отрывок выглядит так: «He began to court her. Her

father and mother were astounded, and answered him, “For goodness’ sake, your Majesty! Our daughter is not a princess, not a king’s daughter; how can she be your wife? And besides, how can you marry when our Mother her Highness is still living?”» [1, p. 62]. Многие места этого отрывка переданы у Дебрецени точнее, гораздо ближе к пушкинскому тексту. Как мы видим, Сэмпсон не написал прямо о сватовстве, используя более общее “court”. Также “Помилуй, государь!” [18, с. 58] буквально переведено у Дебрецени, однако он поменял местами “отец” и “мать”, поскольку в английском языке в таком варианте это сочетание является парой с устойчивым порядком слов. В сложную ситуацию поставило обоим переводчиков слово “королевна”. Сэмпсон выбрал в общем-то буквальный перевод, тогда как Дебрецени предпочел сделать замену на “duchess” — скорее всего, чтобы убрать повтор “daughter” и избежать синонимов “princess” и “king’s daughter” в одном ряду (хотя это способ показать своеобразие персонажей, чью прямую речь он переводит), а возможно, и понимая невозможность передать историзм и опасаясь, что “king” применительно к российским реалиям будет звучать странно. Более близкий к пушкинскому тексту перевод осуществил Сэмпсон и со словосочетанием “матушка государыня”, однако принципиальной разницы в этом случае нет.

Пожалуй, самое яркое впечатление о работах Сэмпсона и Дебрецени позволяет составить сцена допроса Пугачева графом Паниным, где используется игра слов (“вор—ворон”). У Дебрецени она передана так: «“Who are you?” he asked the pretender. “Emelian Ivanov Pugachev” was the answer. “How did you, jailbird, dare call yourself sovereign?” “I’m no bird,” responded Pugachev in an allegorical manner, which was customary with him. “I’m only fledgling; the real bird is still flying about.”» [4, p. 124]. Это не просто компенсация — такой вариант кажется даже интереснее представленного в оригинале. У Сэмпсона диалог начинается так же, но продолжается по-другому: «“How did you dare, you raving thief, to call yourself the sovereign?” Panin continued. “I’m not a raven,” replied Pugachev, playing on words and expressing himself, as was his habit, in allegory; “I’m a raven’s chick, and the raven himself is still flying.”» [1, p. 105–106]. Он выбрал более близкий к оригиналу перевод, сохранив слово “ворон”. Из-за омофонов этот вариант тоже представляется очень удачным. Возможно, оба перевода в этом случае даже превзошли по образности и лексической игре переданный Пушкиным диалог. Помимо этого, снова виден разный подход переводчиков к использованию артиклей

("the sovereign" у Сэмпсона и без артикля у Дебрецени), меняющий смысловые оттенки.

Хотя можно говорить о межкультурной асимметрии, ни один из них не вторгается в ситуацию перевода, оба перевода неадаптированные. Однако и Сэмпсон, и Дебрецени используют переводческий комментарий (но, как мы видели выше, не везде), прямо в тексте добавляют некоторые уточнения, которых нет в оригинале, стараясь дать читателю дополнительную информацию о рассматриваемом историческом периоде. Например, после предложения, заканчивающегося фразой о восшествии Екатерины II на престол, Сэмпсон начинает абзац со слов: "In the very first year of her reign (1762)..." [1, p. 14]. Прямых указаний на то, что указанный год — первый год ее правления, у Пушкина нет. Мы имеем лишь косвенно свидетельствующее об этом выражение: "с самого 1762 года" [18, с. 13]. Дебрецени [4, p. 30] в этом случае придерживается пушкинского текста. В переводе последнего тоже есть уточнения, которых нет у Пушкина (например, "Khalinsk (Caspian) Sea" [4, p. 27]), при этом пушкинская система примечаний в собрании сочинений не сохранена.

В целом комментарии к изданию Сэмпсона гораздо более обширные и детальные [1, p. 111–154], чем к изданию Дебрецени [2, p. 532–536] (здесь — по первому изданию).

К сожалению, в обоих переводах встречаются ошибки и неточности — связанные иногда с невнимательностью или недостаточно ясным представлением о русских реалиях, недостаточно скрупулезным изучением исторических деталей, неудачным подбором аналогичных понятий, а в отдельных местах и с неверным пониманием оригинального текста. Однако это единичные случаи и можно сказать, что и Сэмпсону, и Дебрецени удалось передать общий дух произведения, в их работах есть очень удачные решения, даже в сложных для перевода местах (как мы видим, иногда они даже "дарят" пушкинскому труду новые литературные достоинства). В численном отношении неточностей в работе, представленной в собрании сочинений, немного больше, но в общем она оставляет благоприятное впечатление и пользуется уважением в академической среде.

Оба перевода адекватны, тем более учитывая, что они сделаны спустя полтора столетия после публикации пушкинского текста, уже в свое время содержавшего историзмы. Потребности адресатов исходного текста и перевода несколько различаются: если во времена Пушкина "Историю Пугачева" читатели могли воспринимать как

научный труд об истории своей страны, то широкой англоязычной аудитории второй половины XX века такая работа, хоть и содержащая исторические сведения, покажется скорее возможностью ознакомиться с зарубежной литературой и будет представлять научный интерес в большей степени для филологов.

И Сэмпсон, и Дебрецени, несмотря на обозначенные нами огрехи, овладели историческим материалом и передали его вполне успешно (наверняка во многом это и способствовало переизданиям). Если говорить о выборе переводческой стратегии, то ясно, что Дебрецени в целом стремится к доместикации, тогда как Сэмпсон в большинстве случаев выбирает форенизацию (которая избавила его от ряда неточностей). Сэмпсон больше склонен сохранять фонетические особенности русского языка и экзотизмы, не ограничивает себя в переводческих комментариях и комментариях вообще, чтобы облегчить читателю понимание контекста (что частично, конечно, может быть следствием форенизирующей стратегии), тогда как Дебрецени часто подбирает для перевода аналогичные понятия, привычные и ясные англоязычному читателю, старается сделать свой перевод более легким для мгновенного восприятия основного смысла. Вероятно, он больше ориентирован на широкий круг читателей. У обоих вариантов, несомненно, есть своя аудитория, и удачей можно считать то, что работы не повторяют друг друга, а следуют собственным задачам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Pushkin A.* The History of Pugachev / Trans. by Sampson E. Ann Arbor: Ardis, 1983. 154 p.
2. *Pushkin A.S.* A History of Pugachev // Complete Prose Fiction / Trans. by Debrezzeny P. Stanford: Stanford Univ. Press, 1983. 560 p. P. 361–438.
3. *Pushkin A.* The History of Pugachev / Trans. by Sampson E. London: Phoenix, 2001. 154 p.
4. *Pushkin A.* History of the Pugachev Rebellion / Trans. by Debrezzeny P. // The Complete Works of Alexander Pushkin. In 15 vols. Downham Market: Milner, 2002. Vol. 14. 137 p.
5. *Pushkin A.S.* The Captain's Daughter and, A History of Pugachov / Trans. by Debrezzeny P. Richmond, Surrey: Alma Classics, 2012. 192 p.
6. *Смирнов-Сокольский Н.П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962. 631 с.

7. Овчинников Р.В. Пушкин в работе над архивными документами (“История Пугачева”). Л.: Наука, 1969. 274 с.
8. Овчинников Р.В. Над “пугачевскими” страницами Пушкина. М.: Наука, 1981. 160 с.
9. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1988. 206 с.
10. Оксман Ю.Г. Пушкин в работе над “Историей Пугачева” и повестью “Капитанская дочка” // От “Капитанской дочки” к “Запискам охотника”. Саратов: Саратовское книжное издательство, 1959. 316 с. С. 5–133.
11. Измайлов Н.В. Об архивных материалах Пушкина для “Истории Пугачева” // Пушкин: Исследования и материалы. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 3. 530 с. С. 438–454.
12. Чхеидзе А.И. “История Пугачева” А.С. Пушкина. Тбилиси: Литература и искусство, 1963. 324 с.
13. Петрунина Н.Н. Вокруг “Истории Пугачева” // Пушкин: исследования и материалы. Л.: Наука, 1969. Т. 6. С. 229–251. 308 с.
14. Блок Г.П. Пушкин в работе над историческими источниками. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 240 с.
15. Карпов А.А. Пушкин-художник в “Истории Пугачева” // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1978. Т. 8. 310 с. С. 51–61.
16. Ляцкий Е.А. Пушкин-повествователь в “Истории Пугачевского бунта” // Пушкинский сборник. Прага: Тип. “Политика”, 1929. 303 с. С. 265–296.
17. Блюменфельд В.М. Художественные элементы в “Истории Пугачева” Пушкина // Вопросы литературы. 1968. № 1. С. 154–174.
18. Пушкин А.С. История Пугачева // Собр. соч. в 10 т. М.: ГИХЛ, 1962. Т. 7. 463 с. С. 7–149.
19. Яковлева Т.И., Дуде Т.Г. Бенеке фон Дуде – дворянский род потомственных военных // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков: Псковский государственный университет, 2009. № 30. С. 111–115.
- Pushkin. In 15 vols. Downham Market: Milner, 2002. Vol. 14. 137 p.
5. Pushkin, A.S. The Captain’s Daughter and, A History of Pugachov. Trans. by Debreczeny P. Richmond, Surrey: Alma Classics, 2012. 192 p.
6. Smirnov-Sokolsky, N.P. *Rasskazy o prizhiznennykh izdaniyah Pushkina* [About Pushkin’s Works Issued during his Lifetime]. Moscow, Izd-vo Vsesoyuznoi knizhnoi palaty Publ., 1962. 631 p. (In Russ.)
7. Ovchinnikov, R.V. *Pushkin v rabote nad arhivnymi dokumentami (“Istoriya Pugacheva”)* [Pushkin’s Work with Archival Documents (History of Pugachev)]. Leningrad, Nauka Publ., 1969. 274 p. (In Russ.)
8. Ovchinnikov, R.V. *Nad “pugachevskimi” stranicami Pushkina* [Studying Pushkin’s “Pugachev” Pages]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 160 p. (In Russ.)
9. Ovchinnikov, R.V. *Za pushkinskoj strokoj* [Behind Pushkin’s Lines]. Chelyabinsk, Yuzhno-Uralskoe knizhnoe izdatelstvo Publ., 1988. 206 p. (In Russ.)
10. Oksman, Yu.G. *Pushkin v rabote nad “Istoriej Pugacheva” i povestyu “Kapitanskaya dochka”* [Pushkin’s Work on “The History of Pugachev” and his Novel “The Captain’s Daughter”]. *От “Kapitanskoy dochki” k “Zapiskam ohotnika”* [From “The Captain’s Daughter” to “Notes of a Hunter”]. Saratov, Saratovskoe knizhnoe izdatelstvo Publ., 1959, pp. 5–133. (In Russ.)
11. Izmajlov, N.V. *Ob arhivnykh materialah Pushkina dlya “Istorii Pugacheva”* [About Archival Materials that Pushkin Used during His Work on “The History of Pugachev”]. *Pushkin: Issledovaniya i materialy* [Pushkin: Research and Materials]. Moscow–Leningrad, Izd-vo AN SSSR Publ., 1960. Vol. 3, pp. 438–454. (In Russ.)
12. Chkheidze, A.I. *“Istoriya Pugacheva” A.S. Pushkina* [A.S. Pushkin’s “The History of Pugachev”]. Tbilisi, Literatura i iskusstvo Publ., 1963. 324 p. (In Russ.)
13. Petrunina, N.N. *Vokrug “Istorii Pugacheva”* [About “The History of Pugachev”]. *Pushkin: issledovaniya i materialy* [Pushkin: Research and Materials]. Leningrad, Nauka Publ., 1969. Vol. 6, pp. 229–251. (In Russ.)
14. Blok, G.P. *Pushkin v rabote nad istoricheskimi istochnikami* [Pushkin’s Work with Historical Sources]. Moscow–Leningrad, Izd-vo AN SSSR Publ., 1949. 240 p. (In Russ.)
15. Karpov, A.A. *Pushkin-hudozhnik v “Istorii Pugacheva”* [Pushkin as an Artist in “The History of Pugachev”]. *Pushkin: Issledovaniya i materialy* [Pushkin: Research and Materials]. Leningrad, Nauka Publ., 1978. Vol. 8, pp. 51–61. (In Russ.)
16. Lyatsky, E.A. *Pushkin-povestvovatel v “Istorii Pugachevskogo bunta”* [Pushkin as a Narrator in “History of the Pugachev Rebellion”]. *Pushkinskij sbornik* [Pushkin’s Collection]. Praga, Politika Publ., 1929, pp. 265–296. (In Russ.)

REFERENCES

1. Pushkin, A. The History of Pugachev. Trans. by Sampson E. Ann Arbor: Ardis, 1983. 154 p.
2. Pushkin, A.S. A History of Pugachev. Complete Prose Fiction. Trans. by Debreczeny P. Stanford: Stanford Univ. Press, 1983. 560 p. P. 361–438.
3. Pushkin, A. The History of Pugachev. Trans. by Sampson E. London: Phoenix, 2001. 154 p.
4. Pushkin, A. History of the Pugachev Rebellion. Trans. by Debreczeny P. The Complete Works of Alexander

17. Blyumenfeld, V.M. *Hudozhnicheskie elementy v "Istorii Pugacheva" Pushkina* [Artistic Elements in Pushkin's "The History of Pugachev"]. *Voprosy literatury* [Topics in the Study of Literature]. 1968, No. 1, pp. 154–174. (In Russ.)
18. Pushkin, A.S. *Istoriya Pugacheva* [The History of Pugachev]. *Sobr. soch. v 10 t.* [The Complete Works in 10 Vols]. Moscow, GIKhL Publ., 1962. Vol. 7, pp. 7–149. (In Russ.)
19. Yakovleva, T.I., Duve, T.G. *Beneke fon Duve – dvoryanskij rod potomstvennyh voennyh* [Beneke fon Duve – a Noble Family of Hereditary Military Officers]. *Pskov. Nauchno-prakticheskij, istoriko-kraevedcheskij zhurnal* [Pskov. Scientific and Practical, Historical and Local History Journal]. Pskov, Pskovskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2009, No. 30, pp. 111–115. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 9 ноября 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 19 ноября 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on November 9, 2022

Revised on November 19, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024639-8

К типологии диахронических источников адверсативных показателей

© 2023 г. М. Г. Степанянц

Студент Национального исследовательского университета
“Высшая школа экономики”,
Россия, 101000, Москва, Мясницкая улица, д. 20
maximstepanyants@gmail.com

Резюме. Эта работа посвящена источникам возникновения адверсативных (противительных) показателей в языках мира. Мы предлагаем типологическую классификацию значений, к которым, по-видимому, восходят единицы со значениями ‘но’, ‘однако’, ‘but’, ‘however’, ‘nevertheless’ или ‘whereas’. В неё входят следующие источники, не включённые в предшествующие классификации, к которым мы обращались (или требовавшие уточнения): нерешительное замещение (‘скорее’), фокализация (‘именно’), единый исход (‘как бы то ни было’), отсутствие препятствия (‘без препятствия’), а также дискурсивные значения повтора (‘опять’), перехода (‘впрочем, теперь’) и преемственности (‘а потом’). Благодаря различению четырёх семантических типов адверсативного сочинения (уступительного, заместительного, оппозитивного и аргументативного значений) в нашей работе процессы грамматикализации показаны более детализированно. Мы суммируем предполагаемые переходы значений, изображая их на семантической карте. Источниками наших наблюдений служат зафиксированные примеры диахронических семантических переходов, данные этимологии и факты синхронной полисемии.

Ключевые слова: сочинение, противительный союз, уступительность, грамматикализация, диахроническая типология, семантический переход.

Для цитирования: Степанянц М.Г. К типологии диахронических источников адверсативных показателей // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 94–101. DOI: 10.31857/S160578800024639-8

Towards a Typology of Diachronic Sources of Adversative Markers

© 2023 Maxim G. Stepanyants

Student at the HSE University,
20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russia
maximstepanyants@gmail.com

Abstract. This paper is dedicated to the diachronic sources of adversative markers in the world’s languages. It presents a typological classification of meanings from which the linguistic units that have the meanings ‘но’, ‘однако’ (typical Russian adversatives), ‘but’, ‘however’, ‘nevertheless’ or ‘whereas’ have apparently developed. The classification includes the following sources, which are absent from the previous classifications that we have consulted (or need refinement): hesitant substitution (‘rather, more like’), focalization (‘exactly’), invariable outcome (‘be that as it may’), absence of a hindrance (‘without hindrance’), and also such discourse functions as repetition (‘again’), transition (‘anyway, now’) and continuity (‘next’). The distinction between four semantic types of adversative coordination (concessive, substitutive, oppositive and argumentative) that we make allows us to show the processes of grammaticalization in more detail. We sum up the apparent semantic shifts by putting them onto a semantic map. Our observations are based on the established examples of diachronic semantic shifts, etymological data, and instances of synchronic polysemy.

Key words: coordination, adversative conjunction, concessivity, grammaticalization, diachronic typology, semantic change.

For citation: Stepanyants, M.G. *K tipologii diahronicheskikh istochnikov adversativnykh pokazatelej* [Towards a Typology of Diachronic Sources of Adversative Markers]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 94–101. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024639-8

1. Введение

Наша статья посвящена путям возникновения адверсативных (противительных) показателей в языках мира. Насколько нам известно, эта тема почти не освещалась в типологической перспективе. Если не учитывать многочисленные исследования уступительности (например, в [1] собраны известные диахронические источники этого значения; далее мы упомянем лишь некоторые из них), мы можем назвать только классификацию значений, к которым восходят адверсативные показатели, приведённую в [3], и классификацию из работы [2], в целом посвящённой румынской системе, но также принимающей во внимание другой романский материал. Классификация из [3] тоже использует материал лишь небольшого числа родственных языков — европейских. Кроме того, перечисленные в ней значения-источники в некоторых случаях очень далеки от адверсативных, что свидетельствует о наличии промежуточных этапов на пути грамматикализации. В этой статье мы хотели бы наметить контуры более обширной и сбалансированной классификации. В неё войдут те значения, из которых непосредственно возникли адверсативные, или наиболее близкие к ним, какие получается реконструировать. Наша выборка включает восемнадцать языков, что позволяет обнаружить источники, не включённые в предшествующие классификации.

Наши наблюдения сделаны на основании зафиксированных в литературе примеров диахронических семантических переходов, данных этимологии и фактов синхронной полисемии. Поскольку адверсативные показатели бывают грамматикализованы в разной степени [4, с. 48], мы определяем адверсативные единицы с точки зрения семантики, а не морфосинтаксиса — такой подход применяется и в [3]. Так, в качестве материала исследования мы выбрали языковые единицы, у которых в источнике хотя бы в одном из вариантов перевода или толкования имелся компонент ‘но’, ‘однако’ (по-русски) или ‘but’, ‘however’, ‘nevertheless’, ‘whereas’ (по-английски), сами единицы *but* и *however*, а также несколько русских единиц, употребляемых в значениях, приведённых ниже. В этой работе мы называем все такие единицы “адверсативными показателями”, или просто “адверсативами”.

Понятие адверсативного сочинения отсылает к нескольким семантическим типам конструкций. В [4, с. 28] таких типов выделяется три — вслед за этой работой мы будем использовать их, различая следующие значения: “уступительное” (*На улице дождь, но мы идём на прогулку*; доступна перифраза со специфически уступительным показателем *несмотря на* [4]), “заместительное” (*Он ездил не в Москву, а в Петербург*; по-видимому, для этого употребления важно, что отрицаемая пропозиция предшествует утверждаемой, а не наоборот, см. [5, с. 13], что отрицание выражено эксплицитно — см. определение из [4] — и что во втором конъюнкте происходит эллипсис, см. [6, с. 36]) и “оппозитивное” (*Аня гуляла, а я читал*; это сочинение симметрично в том смысле, что перифраза *Я читал, а Аня гуляла* не меняет семантику высказывания, см. [7, с. 135–136]). Ниже мы по мере возможности указываем, какой именно тип адверсативного значения возникает из каждого источника, что позволяет показать процессы грамматикализации более детализированно.

Однако, помимо названных выше общепринятых значений, нам кажется полезным выделять также “аргументативное” (*Картина дорогая, но красивая*; изменённый пример из [8]). Мы используем для него определение, данное в работе [9, с. 28]¹. В ней уступка считается частным случаем этого значения, но нам кажется, что оно отличается от уступительного: во-первых, в аргументативных контекстах тот факт, что обе соединяемые ситуации имеют место, не обязательно является неожиданным, а во-вторых, в уступительном значении неуместен компонент большей значимости второй пропозиции. Как кажется, аргументативное значение отвечает за немалую долю употреблений основного адверсативного показателя *но* в русском языке, то есть оно не является периферийным. Вероятно, к этому значению можно отнести и “превентивные” употребления (см. [5, с. 8] и [8, с. 180]): так, о примере *Он побежал, но упал* из [8] можно сказать, что в нём

¹ Покажем его на нашем примере. Пропозиция “Картина дорогая” служит аргументом в пользу какого-то вывода, например, “Мы не будем её покупать”. Но из пропозиции “Картина красивая” можно сделать вывод “Мы её купим”. Вторая пропозиция имеет бóльшую значимость, так что предложение целиком служит аргументом в пользу последнего вывода. Это сочинение принципиально асимметрично.

первая пропозиция служит аргументом в пользу вывода “Он добежал до желаемого места”, но вторая – в пользу противоположного².

В следующем разделе мы приводим типологию источников адверсативных значений, показывая, на каком основании мы сделали вывод о том или ином семантическом переходе. Она содержит как установленные, так и гипотетические источники. При наличии информации о том, что данный адверсатив развил с момента своего возникновения другие адверсативные значения, мы упоминаем их. В заключительном разделе мы суммируем получившуюся типологию, показываем пути возникновения каждого семантического типа адверсативного сочинения по отдельности и изображаем реконструируемые переходы на семантической карте.

2. Типология источников адверсативных значений

Предлагаемая нами классификация гетерогенна. Каждая из групп “исключение”, “нерешительное замещение” и “фокализация” представляет собой конкретное значение, которое само по себе может получаться из разных источников. Значения из группы “совместность ситуаций” объединены на семантическом основании (обе ситуации имеют место). К группе “введение дискурсивной единицы” относятся значения единиц, для которых общим является то, что они используются для организации дискурса. Значения из группы “различные (другие) источники уступки” объединяет общий для них результат грамматикализации; в две предыдущие группы попали такие источники уступки, как непрекращающаяся ситуация, дискурсивный повтор и дискурсивная преемственность.

2.1. Исключение

То, что адверсативы зачастую восходят к рестриктивному значению ‘только’, отмечается в [10] по [8, с. 194], а также в [11]. В последней работе говорится, что рестриктивные показатели приобретают аргументативное значение [11, с. 9]. Они также могут развивать заместительное. Оба значения, видимо, появляются в контексте, когда единица употребляется после отрицания (*К празднику ничего не было готово, только открытку подписали*). Как кажется, в нём рестриктивные единицы передают значение исключения, отмеченное [2]. Рассмотрим следующие данные.

² Отметим, что в этой работе мы не учитываем такие дискурсивные употребления адверсативов, как, например, использование союза *но* в начале реплики, содержащей возражение собеседнику. Возможно, в некоторых случаях такие контексты влияют на грамматикализацию адверсативов.

В [12, с. 310–311], грамматике языка вардаман, на котором говорят на севере Австралии, описан показатель *wangi* ‘only, except’. Он употребляется в значении ‘only’ в контексте отрицаемой предшествующей клаузы, а также может передавать аргументативное значение, см. ‘They said to them: “hey come get tobacco”, only that white man was hiding from him’. По [6, с. 242–243], на основании результатов [13] заместительное употребление английского *but* возникло из рестриктивного: автор цитирует цепочку изменения значений: эксептивное > рестриктивное > адверсативное. В [14, с. 339–340] показан контекст переосмысления “эксептивного союза” *but* как заместительного: это позиция после отрицания предыдущей клаузы. Автор пишет, что лишь позднее в истории языка *but* заменило *ac* в значении ‘yet, however’. В [6, с. 143–144] также показано, что нижненемецкое *sunder*, заимствованное из верхненемецкого, когда-то передавало рестриктивное и заместительное значения, что указывает на то, что современное немецкое *sondern* ‘(не ...,) а’ произошло из значения исключения.

Значение исключения может также возникать из смысла ‘если не’. Так, согласно [15], в случае испанского *sino* ‘(не ...,) а’ заместительное значение происходит из значения ‘эксепт’, которое происходит из выражений, начинающихся с *si no es* ‘эксепт’ (буквально ‘if it isn’t’). В [16] по [17, с. 467] говорится, что значение *sino* происходит из сокращения условных предложений, и приводится пример: *Nadi non raste, / sinon dos peones solos* ‘Nobody should stay but two infantrymen’. Такое же развитие было, вероятно, у венгерского заместительного *hanem*, состоящего из условного союза и отрицания [18, с. 258, 295]. Ещё одна единица, имеющая такую внутреннюю форму, – это латинское *nisi*, употреблявшееся заместительно и аргументативно (см. ‘All pain will leave the body [...] there will not be any anguish, but only joy’ и ‘I don’t know how this is happening to me; except that/but I really hope that my son will return home!’) [19, с. 185–186]³.

2.2. Нерешительное замещение

Согласно [21], показатель *magis* в классической латыни означал ‘больше, более’, обладая качественным оттенком ‘скорее’. Он употреблялся

³ Согласно [19, с. 188], *nisi* также иногда, при наличии в контексте отрицания, обнаруживается вместо *quam* после “компаративов”, что автор, видимо, считает расширением его заместительных употреблений. Использоваться в сравнительной конструкции может и показатель *ta* из австронезийского языка муссау-эмира, заместительный [20, с. 69, 183]. Видимо, в этом случае заместительная конструкция была переосмыслена как сравнительная и грамматикализовалась.

в сочетании с латинским адверсативом *sed* со значением ‘а скорее’ и в какой-то момент стал самостоятельно выражать заместительное значение. Как кажется, изначально *magis* передавало в этом сочетании значение “нерешительного замещения”, как у русского *скорее* в *Он не друг, скорее приятель* – говорящий полностью отрицает первую пропозицию, но во второй не уверен. Но при наличии в контексте заместительного союза (*Он не друг, а скорее приятель*) высказывание приобретает эту уверенность, и значение единиц вроде *скорее* может быть переосмыслено как полноценное заместительное. Видимо, именно так произошло переосмысление *magis*, к которому восходит французское заместительное *mais*⁴.

Французское *ains* (*ainz*), восходящее к латинскому *ante* ‘перед, раньше’, употреблялось в заместительном значении [21] – вероятно, оно развило его из значения нерешительного замещения: в [22, с. 203–207] показано, что единицы ‘раньше’ могут приобретать значение “предпочтения” (*Он скорее будет есть рыбу, чем мясо*), которое, как кажется, и даёт начало значению нерешительного замещения. Мы предполагаем, что в случае *ains* переосмысление тоже произошло в контексте заместительного адверсатива. Вероятно, английское сочетание *but rather* иллюстрирует одну из стадий того же процесса: *rather* имеет значение предпочтения, и сегодня, как кажется, *but* всё меньше самостоятельно выражает заместительное значение. Более того, само *rather* может выражать замещение, см. *But there must be no talk of final victory; rather, the long, hard slog to a solution* [23].

2.3. Фокализация

В работе [8, с. 194] отмечается, что показатели фокуса часто используются в “контрастивной” функции – оппозитивной в нашей терминологии. Вероятно, данный семантический переход произошёл в истории армянской единицы *isk* (իսկ): она выражает оппозитивное значение, и в [24] для неё фиксируется значение ‘именно’, которое, как кажется, является устаревшим. Возможно, так же появилось оппозитивное употребление латинского *vero* ‘же, однако’ [25]. Заметим, что этот семантический сдвиг, видимо, не имел место в истории русского оппозитивного *же*. Согласно [26], его адверсативное значение могло появиться иначе: те, кто переводил греческие тексты на старославянский, расширили значение исконной

⁴ Мы предполагаем, что аргументативное и уступительное употребления французского *mais* восходят к значению исключения, см. древнее значение ‘seulement, rien, si ce n’est que’ в [21].

усилительно-эмфатической частицы *же*, приписав ей адверсативную функцию греческого *de* ‘and, but’⁵.

2.4. Совместность ситуаций

Одновременность

Возникновение адверсативных смыслов из значения одновременности ситуаций давно замечено в литературе, но мы хотим обратить внимание на то, что к нему восходят как оппозитивные, так и уступительные показатели. Примером первого перехода является грамматикализация итальянского *mentre* ‘while, as, whereas’ [27], рассмотренная в [28]. Сведения о втором находятся, например, в [29, с. 425–426], хотя некоторые приводимые примеры, возможно, иллюстрируют оппозитивное значение или неоднозначны⁶.

Непрекращающаяся ситуация

Уступительное значение может восходить к значению ‘always, constantly’, как, например, в случае итальянского *tuttavia* [3]. Однако в случае английского *still* оно, вероятно, возникло не из значения ‘constantly’, а из фазового ‘всё ещё’, в которое обычно заложен компонент неожиданности. В [30, с. 136] показаны такие исторические контексты, где *still* передаёт значение ‘continue to’, но ситуация является уступительной. По словам автора, такие контексты делают возможным расширение значения от противоречия ожиданиям к уступке. Близость упомянутых источников можно подтвердить тем, что *still* могло когда-то означать ‘always’ [30].

2.5. Введение дискурсивной единицы

Дискурсивный переход

О латинском *ceterum*, имеющем значение ‘но, однако’ [25], в [31, с. 384] говорится, что в ранней латыни оно ещё не развилось как адверсатив (transition marker) и означало ‘as to the rest; otherwise’, однако позднее стало выражать даже заместительное значение. По [32, с. 285], древнегреческое *allá* (ἀλλά) ‘but’ изначально имело значение ‘other things’, которое, вероятно, дало начало заместительному значению; помимо него, *allá* выражает уступительное и, видимо, аргументативное. *Allá* также может употребляться, чтобы

⁵ В [2] показатели-фокализаторы также предлагаются в качестве источника возникновения адверсативов, но речь идёт об уступительном значении, и под “фокализатором” понимается показатель со значением ‘даже’.

⁶ Заметим, что современное французское *cependant* имеет не оппозитивное значение ‘whereas’, как указано в [3], а уступительное.

“прервать текущую тему дискурса и ввести новую” [32, с. 287]. Мы полагаем, что в этих случаях функция дискурсивного перехода, восходящая к значению ‘в остальном’, даёт начало заместительному и аргументативному значениям.

По-видимому, аргументативные адверсативы могут также восходить к значению дискурсивного перехода, происходящему из временного ‘теперь’. Так, английское *now* может употребляться для перехода к новой теме, но, как кажется, также может нести аргументативное значение, см. *Now, if it was me, I'd want to do more than just change the locks* из [23]. Во французском языке есть единица *or*, имеющая в том числе перевод ‘однако’ [33]. Согласно [21], когда-то она употреблялась со значением ‘теперь, что касается’. Сегодня *or* может выражать уступительное и, видимо, аргументативное значение (*Je crois qu'il faut acheter cette peinture. Or mon ami ne l'aime pas*). В [34, с. 103–104] для показателя *ate* из австронезийского языка майсин фиксируется значение ‘now’ и функция введения новой мысли, а также переводы ‘but’ и ‘however’. Судя по примерам, приводимым автором, *ate* может выражать уступительное и аргументативное значение (см. ‘I sent it that month but you haven't written back’ и ‘They came back and looked around but [to their surprise and annoyance] the verandah was empty’ соответственно).

Дискурсивная преемственность

Обнаруживаемая в некоторых языках полисемия может свидетельствовать о том, что у показателей преемственности дискурса с буквальным значением ‘затем’ могут появляться оппозитивное и уступительное значения. Дискурсивное ‘а потом’ сходно с аддитивным значением и с временным значением ‘затем, потом’, и иногда, вероятно, становится сложным их различить. Заметим, что высказывания с обычными аддитивами вроде английского *and* в определённых контекстах могут интерпретироваться именно с этими адверсативными значениями. Вероятно, семантический переход из этого значения упоминается в [8, с. 191]. Рассмотрим следующие данные.

В [35, с. 419–421] говорится, что в индоарийском языке пхалула единица *ba* является показателем смены темы, преемственности дискурса (‘and then... and then’), а также может передавать оппозитивное значение, подобное ‘while’ или ‘however/ though’, в примере с переводом ‘Go and get a bowl each! The bear, though, will stay here and watch Katamosh’. Согласно [36, с. 266–268, 344], в другом индоарийском языке, раджбанши, есть дискурсивная частица *te* ‘then’, имеющая вариант *л*. Эта единица также выполняет функцию

топикализации, см. ‘As for me, I will not go’ (в определённом контексте это употребление можно было бы посчитать оппозитивным), и выражает уступительное значение, например, в предложении с переводом ‘That day the old woman came (in a) hiding (manner), but one jackal saw (her) again (anyway)’. В австронезийском языке ваеакау-таумако, по [37, с. 416–419], существует союз *ioko* ‘and, but’, уступительный в контекстах вроде ‘They pleaded with him to come to the woman, so the two of them could eat. But he refused’. Он также может выражать смену темы или героя дискурса и новое событие в последовательности.

Дискурсивный повтор

Уступительные адверсативы, видимо, могут возникать из дискурсивного значения, восходящего к значению повторения ‘снова’. На это указывают следующие данные. Немецкий союз *aber*, передающий уступительное и аргументативное значения, происходит из средневерхненемецкого наречия *aber* (*aver*), *abe* (*ave*) с полисемией ‘again, once more, on the contrary, but’ [38]. По [39, с. 204], в турецком языке *yine de* ‘nevertheless’ состоит из единицы ‘again’ и показателя смены темы (topic-shift marker). В [40] для русского *опять-таки* выделяется уступительное значение ‘тем не менее, всё-таки, однако’.

Вариант объяснения этого перехода, который мы можем предложить, – это дискурсивное употребление единицы ‘опять’. Как кажется, в его прототипе говорящий высказывает какую-то идею, которая была озвучена ранее в дискурсе, и указывает на то, что он в определённом смысле повторяется. Однако при дальнейшем расширении сферы дискурсивных употреблений, видимо, он может высказать и совсем новую мысль, а показатель с исходным значением ‘снова’ станет вводить адверсативную ситуацию.

2.6. Различные (другие) источники уступки

Следствие

Переход единиц, соединяющих ситуацию-причину с её следствием (‘поэтому, следовательно’), в уступительные показатели рассматривается в [28], в частности, на материале итальянского *però*. Заметим, что в современном языке оно может выражать аргументативное значение: см. *Mi piace, però è troppo caro* ‘I like it, but it's too expensive’ [27]. Также значением ‘so’ обладают уступительные показатели *mbatī* из языка понди, распространённого на Новой Гвинее [41, с. 103], и *dzɔʒl* из сино-тибетского языка йоннин на [42, с. 527–529, 538]. Возможно, их значение грамматикализовалось

в контексте с наличием отрицания, как в случае *però*, но сведений по этому поводу у нас нет.

Эмфатическое утверждение

Адверсативы, видимо, могут восходить к единицам со значением эмфатического утверждения [3]. Приведём примеры этого развития. Русское *правда* имеет значение ‘действительно, в самом деле’ [43, с. 208] и может употребляться уступительно (передавая некоторое специфическое уступительное значение, см. толкование [43, с. 216]); в [43] обсуждается развитие уступительной семантики у единицы со значением “соответствия действительности”. Согласно работе [32, с. 288–290], древнегреческое уступительное *mentoi* (μέντοι) ‘yet, however’ ранее имело значение ‘certainly’. По утверждению авторов [3], итальянское *bensi* ‘(не ...) а’ тоже восходит к единице со значением вроде ‘в самом деле’, но исследования его семантики в диахронии мы не нашли.

Единый исход

Согласно [44], английское *however* – это реликт подчинительной клаузы вроде *however this may be*. В современном языке оно употребляется с уступительным значением, а также, видимо, может иногда выражать аргументативное (*This painting is expensive. However, I like it very much*). Специфическое значение ‘как бы то ни было, так или иначе’ наблюдается, например, в контекстах, где говорящему не удалось определить, какая ситуация имеет место, но это не влияет на то, что он скажет далее. Согласно [43, с. 66] русское *как бы то ни было* может как означать что-то вроде ‘в любом случае’, так и передавать уступительное значение. Во французском языке существует уступительный показатель *quoique*, имеющий перевод ‘однако’ в [33]. *Quoique* буквально означает ‘что бы ни’ и, возможно, тоже происходит из значения, близкого к ‘в любом случае’.

Отсутствие препятствия

Испанское *sin embargo* ‘however’ буквально означает ‘without obstacle’ [15]. Испанское *no obstante* ‘however’ образовано, видимо, из показателя отрицания и причастия ‘hindering’ [15]. Согласно [44], английское *notwithstanding* ‘in spite of, although, nevertheless, all the same’, вероятно, построено вслед за англо-нормандским и среднефранцузским *non obstant* и его этимомом *non obstante* из латинского языка. Итак, значение отсутствия препятствия даёт начало уступительным показателям.

3. Заключение

В этой работе мы показали существование двенадцати значений, к которым могут восходить адверсативные показатели, и классифицировали эти

значения в шесть групп (с определённой долей условности ввиду наличия ряда переходных случаев). Напомним, что, в то время как одни источники практически общеизвестны, другие носят лишь характер гипотезы. Суммируем получившуюся типологию:

1. *Исключение* (‘кроме того, что’)
2. *Нерешительное замещение* (‘скорее’)
3. *Фокализация* (‘именно’)
4. Совместность ситуаций
 - *Одновременность* (‘в то время как’)
 - *Непрекращающаяся ситуация* (‘всё ещё’)
5. Введение дискурсивной единицы
 - *Дискурсивный переход* (‘впрочем, теперь’)
 - *Дискурсивная преемственность* (‘а потом’)
 - *Дискурсивный повтор* (‘опять’)
6. Различные (другие) источники уступки
 - *Следствие* (‘поэтому’)
 - *Эмфатическое утверждение* (‘действительно’)
 - *Единый исход* (‘как бы то ни было’)
 - *Отсутствие препятствия* (‘без препятствия’)

По сравнению с классификациями из работ [2] и [3], в нашу классификацию входят следующие новые (или уточнённые) источники адверсативных значений: нерешительное замещение, фокализация, единый исход, отсутствие препятствия, дискурсивные значения повтора, преемственности и перехода.

На основании описанных в предыдущем разделе данных можно сделать следующие обобщения об источниках адверсативных значений. Аргументативное значение может возникать из значений исключения, дискурсивного перехода, а также уступки, на что указывает полисемия итальянского *però*. Заместительное значение – из значений исключения, нерешительного замещения и дискурсивного перехода, на что указывает, вероятно, история древнегреческого *allá* (ἄλλᾶ). Оппозитивное значение – из значений фокализации, одновременности и дискурсивной преемственности. Что касается уступительного значения, оно может брать начало во множестве разнообразных источников. Здесь мы упоминали значения непрекращающейся ситуации, дискурсивного повтора, дискурсивной преемственности, следствия, эмфатического утверждения, единого исхода и отсутствия препятствия. Также, если значение исключения действительно даёт начало именно аргументативному значению, в истории единиц вроде *but*, вероятно, уступительное возникает из последнего (аналогичное предположение делается в [11, с. 9] для кантонской единицы *batlgwoʒ*)⁷. Мы изобразили эти обобщения на семантической

⁷ Отметим, что наблюдаемая асимметрия в количестве источников уступительного значения по отношению к остальным адверсативным может свидетельствовать об его обособленном статусе среди них, хотя, возможно, она объясняется большей степенью изученности этого значения.

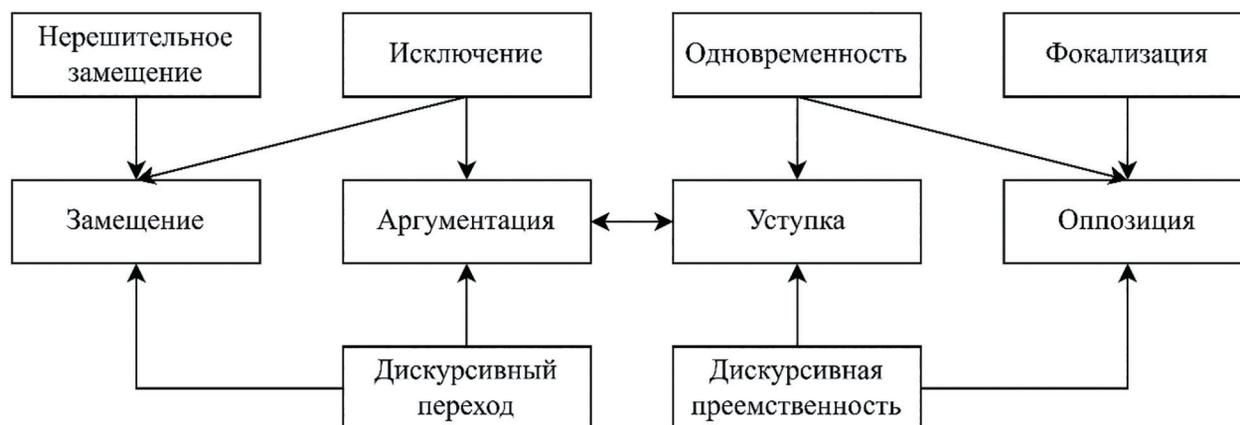


Рис. 1. Семантическая карта предполагаемых источников адверсативных значений (показаны не все известные источники уступительного значения)

карте (рис. 1), обозначив стрелками предполагаемые диахронические переходы. Для лёгкости восприятия мы не стали наносить на карту все известные источники значения уступки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. König E. Concessive markers and concessive meanings: Taking stock of what we know and do not know. Zeaiter S., Franke P. (eds.) *Pioniergeist, Ausdauer, Leidenschaft. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Jürgen Handke*. Philipps-Universität Marburg, 2020.
2. Zafiu R. L'évolution des connecteurs adversatifs du roumain en perspective romane. Iliescu M., Sillerrungaldier H., Danler P. (eds.) *Actes du XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*. Berlin: De Gruyter Mouton, 2010. (In French)
3. Giacalone Ramat A., Mauri C. The grammaticalization of coordinating interclausal connectives. Heine B., Narrog H. (eds.) *The Oxford handbook of grammaticalization*. Oxford University Press, 2011.
4. Haspelmath M. Coordination. Shopen T. (ed.) *Language typology and syntactic description. Vol. 2: Complex constructions*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
5. Payne J.R. Coordination. Shopen T. (ed.) *Language typology and syntactic description. Vol. 2: Complex constructions*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
6. Kotcheva K. Adversativkonnectoren in den nordgermanischen Sprachen: Synchronie und Diachronie. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014. (In German)
7. Lakoff R. If's, and's and but's about conjunction. Fillmore C.J., Langendoen D.T. (eds.) *Studies in Linguistic Semantics*. Irvington, 1971.
8. Malchukov A.L. Towards a Semantic Typology of Adversative and Contrast Marking. *Journal of Semantics*. 2004. № 21 (2). Pp. 177–198.
9. Anscombre J.-C., Ducrot O. Deux mais en français? *Lingua*. 1977. № 43 (1). Pp. 23–40. (In French)
10. König E. Concessive connectives and concessive sentences. Hawkins J. (ed.) *Explaining Language Universals*. Oxford, 1988.
11. Winterstein G. From exclusive to adversative meaning: A diachronic and cross-linguistic perspective. Workshop handout. Trondheim, 2016. URL: <http://gregoire.winterstein.free.fr/docs/Pres/WintersteinG-AdversativeRestriction-HO.pdf>
12. Merlan F.C. *A grammar of Wardaman: a language of the Northern Territory of Australia*. Berlin: De Gruyter Mouton, 1994.
13. König E., Kortmann B. Absolute complementation in the lexical structure of English and German. Lörcher W., Schulze R. (eds.) *Perspectives on language in performance: Studies in linguistics, literary criticism, and language teaching and learning: To honour Werner Hüllen on the occasion of his sixtieth birthday*. Tübingen: Narr, 1987.
14. Nevalainen T. Modelling functional differentiation and function loss: the case of but. Thorne J.P., Adamson S. (eds.) *Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics*. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co, 1990.
15. Gómez de Silva G. *Elsevier's concise Spanish etymological dictionary*. Amsterdam: Elsevier, 1985.
16. Corominas J., Pascual J.A. *Diccionario crítico etimológico castellano e hispanico*. Madrid: Gredos, 1983. (In Spanish)
17. Esperanza Torrego M. Coordination. Baldi P., Cuzolin P. (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax. Vol. 1*. Berlin: De Gruyter Mouton, 2009.

18. *Майтинская К.Е.* Венгерский язык. Часть 3: Синтаксис. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. [Majtinskaya, K.E. *Vengerskij jazyk. Chast 3: Sintaksis* [The Hungarian Language. Part 3: Syntax]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1960. (In Russ.)]
19. *Galdi G.* On so-called adversative nisi. *Pallas*. 2016. № 102. Pp. 181–190.
20. *Brownie J., Brownie M.* Mussau grammar essentials. Ukarumpa: SIL-PNG Academic Publications, 2007.
21. *Rey A.* Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2010. (In French)
22. *Traugott E.C., König E.* The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited. Traugott E.C., Heine B. (eds.) *Approaches to grammaticalization*. Vol. 1. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co, 1991.
23. Collins English Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>
24. Bararanonline (Galstyan Armenian-Russian dictionary). URL: <https://bararanonline.com/>
25. Lingvo Live (The Latin-Russian Dictionary). URL: <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/>
26. *Van Valin R.D.* The Russian particle-connective *že*: its use and origin. *Russian Language Journal* [Русский язык]. 1977. Vol. 31, № 108. Pp. 61–67.
27. Collins Italian Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-italian>
28. *Giacalone Ramat A., Mauri C.* Gradualness and pace in grammaticalization: The case of adversative connectives. *Folia Linguistica*. 2012. Vol. 46, № 2. Pp. 483–512.
29. *Kuteva T., Heine B., Hong B., Long H., Narrog H., Rhee S.* *World Lexicon of Grammaticalization*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2019.
30. *Lewis D.M.* Grammaticalizing adverbs of English: the case of still. Núñez Pertejo, López-Couso M.J., Méndez-Naya B., Pérez-Guerra H. (eds.) *Crossing linguistic boundaries: systemic, synchronic and diachronic variation in English*. London: Bloomsbury Academic, 2019.
31. *Rosén H.* Coherence, sentence modification, and sentence-part modification – the contribution of particles. Baldi P., Cuzzolin P. (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. Vol. 1. Berlin: De Gruyter Mouton, 2009.
32. *Allan R.J.* Ancient Greek adversative particles in contrast. Denizot C., Spevak O. (eds.) *Pragmatic approaches to Latin and Ancient Greek*. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co, 2017.
33. *Гак В.Г., Ганшина К.А.* Новый французско-русский словарь. М.: Русский язык, 1993. [Gak, V.G., Ganshina, K.A. *Novyj frantsuzsko-russij slovar* [The New French-Russian Dictionary]. Moscow, Russkij jazyk Publ., 1993. (In Russ.)]
34. *Frampton J.M.* Maisin: A grammatical description of an Oceanic language in Papua New Guinea. SIL International, 2020.
35. *Liljegren H.* A grammar of Palula. Language Science Press, 2016.
36. *Wilde C.P.* A sketch of the phonology and grammar of Rajbanshi. Helsinki: Helsinki University Press, 2008.
37. *Næss Å., Hovdhaugen E.* A grammar of Vaeakau-Taumako. Berlin: De Gruyter Mouton, 2011.
38. *Kluge F.* An etymological dictionary of the German language. London: George Bell & sons, 1891.
39. *Haig G.* Linguistic diffusion in present-day East Anatolia: From top to bottom // Aikhenvald A.Y., Dixon R.M.W. (eds.) *Areal diffusion and genetic inheritance: problems in comparative linguistics*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
40. Словарь русского языка. [Slovar russkogo jazyka [The Russian Language Dictionary]. (In Russ.)]. URL: <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp>
41. *Barlow R.* A sketch grammar of Pondi. Acton: Australian National University Press, 2020.
42. *Lidz L.A.* A descriptive grammar of Yongning Na (Mosuo): PhD Dissertation. University of Texas at Austin, 2010.
43. *Апресян В.Ю.* Уступительность: Механизмы образования и взаимодействия сложных значений в языке. М.: Языки славянской культуры, 2015. [Apresyan, V.Yu. *Ustupitelnost: Mehanizmu obrazovanija i vzaimodejstvija slozhnyh znachenij v jazyke* [Concessivity: The Mechanisms of Establishment and Interaction of Complex Meanings in Language]. Moscow, Jazyki slavjanskoj kultury Publ., 2015. (In Russ.)]
44. Oxford English Dictionary. URL: <https://www.oed.com/>

*Дата поступления материала в редакцию: 19 октября 2022 г.
Статья поступила после рецензирования и доработки: 30 ноября 2022 г.
Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.
Дата публикации: 28 февраля 2023 г.*

*Received by Editor on October 19, 2022
Revised on November 30, 2022
Accepted on December 15, 2022
Date of publication: February 28, 2023*

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024637-6

**“Только архив ведет к истории литературы...”:
К юбилею Натальи Васильевны Корниенко**

© 2023 г. Д. С. Московская

Доктор филологических наук,
главный научный сотрудник
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8089-9604>
darya-mos@yandex.ru

© 2023 г. Е. А. Папкина

Кандидат филологических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5776-1802>
elena.iv@bk.ru

Резюме. Статья раскрывает основные вехи научной деятельности члена-корреспондента Российской академии наук Натальи Васильевны Корниенко, чей юбилей сегодня празднует отечественная наука. Труды Н.В. Корниенко, посвященные творческому наследию А. Платонова, М. Шолохова, К. Федина, Вс. Иванова, обновили источниковедческую базу исследований советских писателей. Для научных изданий, подготовленных Н.В. Корниенко, характерна углубленная проработка историко-литературного материала, широкая опора на документальные источники и архивы. Это стремление к объективности исследования, разработка темы на материале двух потоков (метрополии и эмиграции), образующих единое целое литературы эпохи, рассмотрение литературных явлений и процессов на широком социокультурном фоне, сопряжение их с соответствующими явлениями и процессами в других областях творчества, прежде всего в общественной и философской мысли. Большой ученый, она гармонично сочетает строгую требовательность к себе со стремлением организовать работу так, чтобы каждый — начинающий и уже зрелый ученый — чувствовал себя нужным и причастным к великому делу сохранения русской культуры.

Ключевые слова: юбилей, Н.В. Корниенко, текстология, источниковедение, научная публикация, советская литература.

Для цитирования: *Московская Д.С., Папкина Е.А.* “Только архив ведет к истории литературы...”. К юбилею Натальи Васильевны Корниенко // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 102–109. DOI: 10.31857/S160578800024637-6

**“Archive is the Only Way Towards the History of Literature...”:
Marking the Jubilee of Natalia V. Kornienko**

© 2023 Daria S. Moskovskaya

Doct. Sci. (Philol.),
Head Researcher at the A.M. Gorky Institute of World Literature

of the Russian Academy of Sciences,
25a Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8089-9604>
darya-mos@yandex.ru

© 2023 Elena A. Papkova

Cand. Sci. (Philol.),
Senior Researcher at the A.M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
25a Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5776-1802>
elena.iv@bk.ru

Abstract. The article highlights the main milestones of the scholarly activity of Natalia Vasilyevna Kornienko, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, who presently celebrates her jubilee and is greeted by the national academic community. The works of N.V. Kornienko, dedicated to the creative heritage of A. Platonov, M. Sholokhov, K. Fedin, Vs. Ivanov, have updated and streamlined the source database for the research of Soviet writers. The critical editions prepared by N.V. Kornienko are valued for their in-depth exploration of historical and literary material and thorough reliance on the documentary sources and archives. Such publications reveal the desire for unbiased research, the ability to consider material within two contrasting cultural streams (metropolis and emigration), which unite in the literature of the era, the contemplation of literary phenomena and processes against a broad socio-cultural background, pairing them with the corresponding phenomena and processes in other fields of creativity, primarily in social and philosophical thought. An outstanding scholar, she harmoniously combines devoted commitment to academic service with professorial skills, creating workspace friendly for everyone from young students to mature specialists in the field, so that all feel needed and involved in the great cause of preserving Russian culture.

Key words: jubilee, N.V. Kornienko, textual studies, source studies, scientific/scholarly publication, Soviet literature.

For citation: Moskovskaya, D.S., Papkova, E.A. “*Tolko arhiv vedet k istorii literatury...*”. *K yubileyu Natalji Vasiljevny Kornienko* [“Archive is the Only Way Towards the History of Literature...”: Marking the Jubilee of Natalia V. Kornienko]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 102–109. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024637-6

17 февраля 2023 г. научное сообщество отмечает юбилей Натальи Васильевны Корниенко — члена-корреспондента Российской академии наук, председателя Текстологической комиссии секции языка и литературы ОИФН РАН, ведущей Отделом новейшей литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, члена Союза писателей России и крупнейшего специалиста по творчеству А.П. Платонова. Вынесенные в заглавие слова Натальи Васильевны — кратко и точно характеризуют ее путь литературоведа: от традиционных вопросов поэтики художественного творчества к фундаментальным трудам, посвященным истории и текстологии советской литературы. Он пролегал через писательские архивы — А. Платонова, К. Федина, Вс. Иванова, М. Шолохова, архивы писательских союзов и литературных организаций. Все, что было создано Натальей Васильевной за годы ее неустанного труда на благо отечественной науки, опиралось

на архивный документ, на полноту охвата первоисточников — без которых, как она убедительно показала, не существует истории литературы.

Масштаб сделанного в филологии, научные заслуги Корниенко были оценены и признаны давно: избранная в 1997 г. по молодежному списку, она стала самым молодым членом-корреспондентом в ИМЛИ РАН. После окончания педагогического института (Новосибирск — Комсомольск-на-Амуре) и аспирантуры Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена Н.В. Корниенко защитила в 1979 г. кандидатскую диссертацию “Философские искания и особенности художественного метода А.П. Платонова”. В аспирантские годы началась работа, ставшая главной в судьбе Натальи Васильевны, связанная с творческим наследием писателя Андрея Платонова. “В это время мне пришлось (посчастливилось) помогать Марии Андреевне разбирать папки и пакеты с разными

материалами” [1, с. 76], – вспоминала Н.В. Корниенко. Тогда были впервые напечатаны сценарий Платонова “Семья Иванова” (Советская литература. 1990. № 3), статья “Фабрика литературы” (Октябрь. 1991. № 10), первая редакция повести “Город Градов” (Новый мир. 1993. № 4) и др. Именно благодаря архивным разысканиям Н.В. Корниенко опубликован в журнале “Новый мир” (1991. № 9) и введен в научный оборот роман “Счастливая Москва”. Публикации включали тщательно выверенный текст и научный комментарий, погружающий читателя в реалии эпохи и биографии писателя.

В эти годы складывалась и методология историко-литературного исследования ученого, требующего разыскания и сопоставления сохранившихся источников текста, восстановления истории его создания, выявления основного текста. Научные принципы, на которых будет строиться дальнейшая работа Корниенко, изложены в ее первой монографии “История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946)”, вышедшей в свет в 1993 г., и легли в основу первого научного Собрания сочинений писателя, работа над которым под руководством Н.В. Корниенко ведется с 1998 г. В предисловии “От редакции” к вышедшему в 2004 г. первому тому были сформулированы новаторские задачи издания: “Отсутствие прижизненного и посмертного Собрания сочинений; неразработанность текстологических принципов и объективная трудность определения практических подходов к воспроизведению текстов писателя; разнородность наследия; тотальное редакторское вмешательство в прижизненные публикации писателя и редакционный произвол в посмертных изданиях; распыленность материалов по разным архивам (литературным и нелитературным) и отсутствие полных описей архивных источников; приблизительность существующих хроник жизни и творчества... Научное издание ставит и по возможности решает целый комплекс этих и других первичных базовых вопросов текстологии и биографии Платонова” [2, с. 8].

Основные методологические положения текстологии Платонова и шире – писателей советской эпохи были выработаны Н.В. Корниенко в ряде работ: “О некоторых уроках текстологии” [1, с. 4–23], “Повествовательная стратегия Платонова в свете текстологии” [3, с. 312–335], «Повествование Платонова: “автор” и “имплицитный читатель” в свете текстологии» [4], “Наследие А. Платонова – испытание для филологической науки” [5, с. 117–137] и др. В них Наталья Васильевна одной из первых обратила внимание

научного сообщества на критическую ситуацию, связанную с существующей практикой подготовки и издания сочинений советских писателей XX в., поставила вопрос о необходимости выработки новой источниковедческой и методологической ее базы. Выработка типа комментария платоновского текста, которая стала еще одной важной задачей издания, была нацелена на то, чтобы “способствовать пониманию произведений писателя, о которых сложилось столько небылиц, когда смысл написанного передергивался до неузнаваемости в угоду политической или иной конъюнктуре” [5, с. 10–11].

Сформулированные Корниенко в первом томе “Сочинений” Платонова принципы оказались основополагающими не только для этого издания. В 2006 г. была создана Текстологическая комиссия секции языка и литературы ОИФН РАН (председатель – Н.В. Корниенко), призванная координировать работу групп академических институтов ИМЛИ и ИРЛИ (Пушкинского Дома) по подготовке собраний сочинений классиков и изданий текстов отдельных литературных памятников. Силами ИМЛИ и ИРЛИ в 2007 г. в Институте мировой литературы проведен Международный текстологический семинар, посвященный разным аспектам текстологических и источниковедческих исследований русской литературы XX в. По его результатам вышел первый сборник статей “Текстологический временник. Русская литература XX века: вопросы текстологии и источниковедения” (М.: ИМЛИ РАН, 2009; под редакцией Н.В. Корниенко).

Появлению первых томов Собрания сочинений Платонова предшествовало, по словам Натальи Васильевны, “событие общекультурного значения” [6, с. 3]. 3 июля 2006 г. Президентом РАН Ю.С. Осиповым было подписано распоряжение президиума РАН “О приобретении архива А.П. Платонова”. 7 ноября дирекцией ИМЛИ РАН и внуком писателя А.М. Мартыненко заключены два договора – о передаче ИМЛИ семейного архива писателя и части авторских прав на издание научного Собрания сочинений А.П. Платонова и сопутствующих ему научных трудов. Группа Собрания сочинений Платонова во главе с Натальей Васильевной занималась разбором поступившего в ИМЛИ архива, его систематизацией, составлением описи входящих в его состав документов.

Итогом почти трехлетней кропотливой работы стала первая книга серии “Архив А.П. Платонова” (2009) – томов-спутников научного собрания сочинений писателя. Намеченная Корниенко

стратегия источниковедческой и текстологической работы отразилась в самой структуре книги, где статьи и архивные публикации объединены в три раздела: “Текст и его история”, “Эпистолярное наследие” и “Документы жизни и творчества”. Этим направлениям исследования предоставляет прочный фундамент только работа с архивом.

Вышедшая в 2019 г. и предшествовавшая появлению третьего тома Собрания сочинений новая книга “Архива А.П. Платонова” представила первое научное описание рукописи главного произведения писателя – романа “Чевенгур” (1927–1929). Издание подготовили Н.В. Корниенко, Е.В. Антонова, Е.А. Папкина. Без этой книги подготовка к публикации романа в Собрании сочинений не смогла бы осуществиться. На материалах фондов ИМЛИ и ИРЛИ РАН был восстановлен «первоначально неделимый текст автографа “Чевенгура”», который “волей истории оказался в разных архивах и городах” [7, с. 5]. Сопроводительная статья Н.В. Корниенко «“Путь в Чевенгур”: от истории текста к творческой истории романа» представляет анализ существующих концепций истории текста “Чевенгура”, рассматривает вопрос датировки автографа, фигуру автобиографического героя-рассказчика и любовный лирический сюжет первой редакции романа – повести “Строители страны”, историю публикации фрагментов романа во второй половине 1920-х годов и др.

Еще одним изданием, дающим бесценный материал для изучения биографии и творчества Платонова, являются его письма, вышедшие в 2013 г. (второе издание в 2019 г.). В предисловии Корниенко называет письма “органической частью наследия писателя, замечательным документом русской истории литературы и быта советской эпохи, бесценным, а зачастую и единственным надежным первоисточником для понимания платоновского творчества, составления хроники жизни гениального писателя и комментария его произведений” [8, с. 7–8].

Одновременно с публикациями произведений Платонова усилиями Н.В. Корниенко было организовано проведение Международных платоновских конференций в ИМЛИ РАН. Первая прошла в 1989 г., в год 90-летия писателя. В последующие 30 лет состоялось девять конференций, приуроченных к годовщинам рождения и смерти писателя (1989, 1994, 1996, 1999, 2001, 2004, 2009, 2014, 2019). В платоновских конференциях в ИМЛИ принимали участие прежде всего представители российской науки – исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа,

Екатеринбурга, Калининграда, Петрозаводска, Самары, Благовещенска, Краснодара, Томска, Саратова и других городов страны. Зарубежные научные школы были представлены учеными из Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Польши, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, Армении. Результатом Международных платоновских конференций, проводимых Н.В. Корниенко, является постоянное укрепление и расширение интереса к творчеству Платонова за рубежом. За рамками конференции иностранные филологи и переводчики постоянно обращаются за необходимыми консультациями к сотрудникам группы Собрания сочинений Платонова, неизменно находя самый радужный отклик на свои запросы. Под руководством Корниенко периодически обучаются и проходят стажировку зарубежные студенты и аспиранты, пополняющие затем ряды исследователей и ценителей русской литературы и культуры. Во многом благодаря личным качествам Натальи Васильевны завязываются и поддерживаются связи между отечественными и зарубежными учеными разных поколений, среди которых могут быть упомянуты такие значимые фигуры, как Т. Лангерак (Бельгия), Х. Гюнтер (Германия), Б. Доог (Бельгия), Р. Ходел (Германия), Р. Чандлер (Великобритания), С. Нонака (Япония), А. Фурукава (Япония), В. Ставрополу (Греция), Л. Шёквист (Швеция), Н. Скаков (США), Юн Ю (Южная Корея) и др.

По материалам конференций подготовлено восемь выпусков издания «“Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества» (М., 1994, 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, 2011, 2017; под редакцией Н.В. Корниенко). Готовится к печати девятый выпуск. Специальный раздел каждого сборника “Архив” (“Биография. Хроника. Архив”) включает материалы архивных фондов и вводит в научный оборот многие документы творчества и биографии Платонова – повести, пьесы, киносценарии, статьи, очерки, письма, хроники деятельности литературных и нелитературных организаций, где работал писатель, критические статьи и отзывы о произведениях Платонова разных лет и многое другое. Открывая восьмой выпуск “Страны философов”, названный “Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы”, Наталья Васильевна писала: “За последние десятилетия платоноведение значительно обновило источниковедческую базу исследований биографии писателя и отношений Платонова с его современниками, вписавшись

в общее русло изучения истории русской литературы XX в.: изданы письма Платонова, выходят тома Собрания сочинений и комментированные издания его произведений, в научный оборот вводятся ранее неизвестные тексты, открываются и разрабатываются новые контексты – литературные, политические, философские, научно-технические, исторические... На этом направлении еще немало белых пятен и, следовательно, научных открытий” [9, с. 3].

Несмотря на то что приоритетным для Натальи Васильевны всегда оставалось творчество А.П. Платонова, этим ее исследовательские задачи не исчерпываются, и с течением времени все шире становится поле научной деятельности ученого. В 2006 г. Н.В. Корниенко возглавила Отдел новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН. Сотрудники отдела объединены в группы собрания сочинений С. Есенина, В. Маяковского, А.Н. Толстого, И. Бабеля, А. Платонова, Н. Тэффи. Отдел включает группу литературы русского зарубежья (руководитель – Ю.А. Азаров), где подготовка томов осуществляется на основе текстологических исследований и разработки новой источниковедческой базы.

Еще в 2000 г. по инициативе Н.В. Корниенко и С.Г. Семеновича была разработана широкая программа серии научных трудов по истории русской литературы 1920–1930-х годов. Серия предполагала выпуск коллективных трудов, сборников, монографий, посвященных различным проблемам истории литературы первых пореволюционных десятилетий. Это вопросы периодизации, особенностей литературного процесса, основных течений и группировок, социокультурного контекста литературы, направлений и тенденций развития поэзии и прозы, хроники литературной жизни и т.д. Серия была задумана как предварение новой академической истории русской литературы 1920–1930-х годов, создание которой Наталья Васильевна считала и считает одной из актуальных задач современной филологической науки. Для изданий характерна углубленная проработка историко-литературного материала, широкая опора на документальные источники, отечественные и зарубежные архивы. Авторы следуют принципам, убежденным сторонником которых выступает Н.В. Корниенко. Это стремление к объективности исследования, разработка темы на материале двух потоков (метрополии и эмиграции), образующих единое целое литературы эпохи, рассмотрение литературных явлений и процессов на широком социокультурном фоне,

сопряжение их с соответствующими явлениями и процессами в других областях творчества, прежде всего в общественной и философской мысли.

В серии “История русской литературы XX века. 1920–1930-е годы” вышли и две монографии Н.В. Корниенко: «“Сказано русским языком...” Андрей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в русской литературе» (2003) и «“Нэповская оттепель”: Становление института советской литературной критики» (2010), выполненные “методом историко-литературного комментария” [10, с. 3]; [11, с. 486]. Избранный метод, во второй монографии соединенный с “методом аналитической хроники”, позволил автору на большом материале советской и эмигрантской периодики, архивных фондов издательств, журналов и писательских архивов исследовать большой спектр вопросов и проблематики русской литературы и литературной критики советского периода. В книге “Нэповская оттепель” Н.В. Корниенко сформулировала своего рода исследовательский кодекс:

“Трудоёмкость изучения литературы первых двух советских десятилетий состоит в том, что литературовед стоит перед необходимостью (профессионально обязан) изучать:

1) современный писателю исторический процесс, внутрипартийные дискуссии не только по литературным вопросам, но и далекие от сферы культуры;

2) культурную низовую повседневную жизнь эпохи;

3) строение двух литературных процессов – советской России и эмиграции, динамику их отношений;

4) строение и закономерности советской литературы и строение русской литературы и их отношения” [11, с. 482].

Благодаря настойчивым и последовательным усилиям Натальи Васильевны началось возвращение в современность наследия Всеволода Иванова. Н.В. Корниенко выступила инициатором издания “Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества” (отв. ред. Е.А. Папкова; 2010). В книгу вошли никогда не печатавшиеся повести, рассказы, пьесы, материалы по теории литературы из личного архива писателя.

“Константин Федин и его современники” – еще одно издание, инициатором которого выступила Н.В. Корниенко. Идея проекта родилась после встречи Натальи Васильевны с коллективом Государственного музея К.А. Федина в Саратове,

богатейшая коллекция которого была передана в дар родному городу писателя его дочерью Ниной Константиновной и составила экспозицию “Дом русской литературы XX века”. В книги первую (2016) и вторую (2018) вошли переписка К. Федины с Ф. Сологубом, Е.И. и Л.Н. Замятинскими, А. Воронским, М. Зощенко, К. Чуковским, А. Ремизовым, И. Эренбургом, В. Познером, М. Слонимским; письма Федину А. Ахматовой, В. Шишкова, Б. Пастернака, письма Федина Вс. Иванову. Завершают вторую книгу статья и публикация Корниенко «“Как идти, чтобы не сорваться в пропасть?”»: к истории создания романа К. Федина “Города и годы”, куда вошли материалы из фонда РО ИРЛИ, составляющие генетическое досье романа.

“На пути к академическому Шолохову” — так называется новый проект Н.В. Корниенко, нацеленный на выявление материалов о писателе на страницах и в архивных фондах журналов Москвы и Ленинграда 1920–1940-х годов и являющийся лишь необходимым этапом на пути к подготовке академического собрания сочинений М.А. Шолохова. Важными вехами на этом пути стали издания, осуществившиеся в ИМЛИ РАН благодаря инициативе Натальи Васильевны. В 2011 г. в Отделе новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья была подготовлена динамическая транскрипция рукописи романа М.А. Шолохова “Тихий Дон” (отв. ред. Г.Н. Воронцова). В 2017 г. вышло научное издание романа “Тихий Дон” в двух книгах (отв. ред. А.М. Ушаков). В издание включены неизвестные фрагменты текста, изъятые в 1930-е годы по идеологическим и иным причинам. В результате текстологического анализа всех рукописных и печатных источников великого романа Шолохова выявлено более 4000 разночтений и внесено 500 поправок с указанием и обоснованием источника вносимых исправлений. Итогом совместной работы под руководством Н.В. Корниенко сотрудников ИМЛИ РАН и Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в станице Вешенской стало двухтомное издание: «“Очень прошу ответить мне по существу...” Письма читателей М.А. Шолохову. 1929–1955» (М.: ИМЛИ РАН, 2020) и «“К Вам с письмом советский читатель...” Письма читателей М.А. Шолохову. 1956–1984» (М.: ИМЛИ РАН, 2022). Первая книга в 2021 г. удостоена премии Союза писателей России “Имперская культура” (по разряду “Территория слова”). В рецензии на том отмечается: “Столь масштабное издание читательских откликов на творчество одного автора в российском литературоведении осуществлено впервые.

В книгу включены 520 писем 1929–1955 годов, направленных непосредственно М. Шолохову или в редакции и издательства, выпускавшие его произведения” [12, с. 267]. 17 октября в ИМЛИ РАН состоялась презентация изданий 2022 г., посвященных творчеству М.А. Шолохова, где важное место было отведено названным книгам, каждая из которых стала новым словом в текстологии и шолоховедении.

Будучи членом, а затем заместителем председателя редколлегии серии “Литературные памятники” РАН, Наталья Васильевна стала инициатором работы, крайне необходимой для сохранения русской культуры. По предложению Корниенко, которое поддержали другие ученые — члены редколлегии, было принято решение о том, чтобы представить в серии произведения русских писателей XX в., ставшие литературными памятниками своей эпохи. Наталья Васильевна является ответственным редактором таких изданий, как роман А.Н. Толстого “Хождение по мукам” 1919–1921 гг. (подг. Г.Н. Воронцовой, 2012), книга Вс. Иванова “Тайное тайных” (подг. Е.А. Папковой, 2012), роман М.А. Булгакова “Белая гвардия” (подг. Е.А. Яблоковым, 2015), книга И.Э. Бабея “Конармия” (подг. Е.И. Погорельской, 2018), книга Н.А. Заболоцкого “Столбцы” (подг. И.Е. Лошиловым, 2020), юмористические рассказы А. Аверченко (подг. Д.Д. Николаевым, 2021). Готовятся к изданию роман К.А. Федина “Города и годы” (подг. Е.М. Трубиловой), мемуары Н.П. Анциферова “Из дум о былом” (подг. Д.С. Московской), роман В.Я. Зазубрина “Два мира” (подг. Л.В. Суматохиной).

Важной в профессиональной судьбе Н.В. Корниенко является преподавательская работа. Наталья Васильевна ценит и чтит своих учителей, часто с благодарностью вспоминает профессоров Эльвиру Николаевну Горюхину, Владимира Николаевича Альфонсова, Светлану Ивановну Тимину, и в свою очередь для своих учеников: студентов, аспирантов, докторантов — является Учителем с большой буквы. После окончания аспирантуры в Ленинграде она вернулась на родину, в Сибирь, стала преподавателем, а затем возглавила кафедру советской и зарубежной литературы Новосибирского государственного педагогического института. Много лет проработала на кафедре новейшей русской литературы Литературного института имени А.М. Горького. Важной частью деятельности Н.В. Корниенко много лет была и остается работа с аспирантами. Наталья Васильевна никогда не ограничивает в выборе темы, под ее руководством в последние

годы защищены или готовятся кандидатские и докторские диссертации по творчеству не только А. Платонова, но и И. Бабея, Вс. Иванова, А. Цветаевой и других писателей. Прежде всего Наталья Васильевна всегда старается научить добросовестной работе с первоисточниками, показать необходимость идти от документов, а не от сложившихся концепций и шаблонов.

В течение многих лет Н.В. Корниенко являлась председателем Экспертного совета по филологии и искусствоведению Российского гуманитарного научного фонда. Неценима ее работа по продвижению и поддержке талантливых ученых и научных коллективов России не только в столице, но и в регионах.

В отечественной культурной традиции от большого ученого, как и от большого писателя, ждут понимания своей ответственности перед делом, которым он занимается. Наталья Васильевна Корниенко в высшей степени отвечает этому ожиданию. Большой ученый, она гармонично сочетает строгую требовательность к себе со стремлением организовать работу так, чтобы каждый — начинающий и уже зрелый ученый — чувствовал себя нужным и причастным к великому делу сохранения русской культуры.

С юбилеем Вас, дорогая Наталья Васильевна!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1995. 360 с.
2. Платонов А.П. Сочинения. Том первый. 1918–1927. Книга первая. Рассказы. Стихотворения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 646 с.
3. “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, 1995. Вып. 2. 336 с. С. 312–335.
4. Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov. Bern, 1998. P. 183–206.
5. “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: “Наследие”, 2000. Вып. 4. 955 с. С. 117–137.
6. Архив А.П. Платонова. Кн. 1. / отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 702 с.
7. Архив А.П. Платонова. Кн. 2. Описание рукописи романа “Чевенгур”. Динамическая транскрипция / отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 720 с.
8. Платонов А.П. “...я прожил жизнь”: письма. 1920–1950 гг. / под общ. ред. Н. Корниенко и Е. Шубиной; сост. и вступ. статья Н. Корниенко. М.: Астрель, 2013. 688 с.
9. “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 8. Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы / отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 656 с.
10. Корниенко Н.В. “Сказано русским языком...” Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 533 с.
11. Корниенко Н.В. “Нэповская оттепель”. Становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 498 с.
12. Погорельская Е.И. “Очень прошу ответить мне по существу...”: Письма читателей М.А. Шолохову. 1929–1955 / отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2020. 848 с. / Е.И. Погорельская // Вопросы литературы. 2021. № 6. С. 266–271.

REFERENCES

1. *Tvorchestvo Andreya Platonova: issledovaniya i materialy. Bibliografiya* [Creative Works of Andrey Platonov: Research and Materials. Bibliography]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1995. 360 p. (In Russ.)
2. Platonov, A.P. *Sochineniya. Tom pervyy. 1918–1927. Kniga pervaya. Rasskazy. Stikhotvoreniya* [Essays. Volume One. 1918–1927. The First Book. Stories. Poems]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2004. 646 p. (In Russ.)
3. “*Strana filosofov*” *Andrey Platonov: problemy tvorchestva* [“The Land of Philosophers” by Andrey Platonov: Problems of Creativity]. Moscow, “Nasledie” Publ., 1995. Issue 2, pp. 312–335. (In Russ.)
4. *Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov*. Bern, 1998. P. 183–206. (In German)
5. “*Strana filosofov*” *Andrey Platonov: problemy tvorchestva* [“The Land of Philosophers” by Andrey Platonov: Problems of Creativity]. Moscow, “Nasledie” Publ., 2000. Issue 4, pp. 117–137. (In Russ.)
6. *Arkhiv A.P. Platonova. Kn. 1. Otv. red. N.V. Kornienko* [Archive of A.P. Platonov. Book 1. Ed. by N.V. Kornienko]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2009. 702 p. (In Russ.)
7. *Arkhiv A.P. Platonova. Kn. 2. Opisanie rukopisi romana “Chevengur”*. Dinamicheskaya transkripciya. Otv. red. N.V. Kornienko [Archive of A.P. Platonov. Book 2. Description of the Manuscript of the Novel “Chevengur”. Dynamic transcription. Ed. by N.V. Kornienko]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2019. 720 p. (In Russ.)
8. Platonov, A.P. “...ya prozhil zhizn”: *pisma. 1920–1950 gg. Pod obshh. red. N. Kornienko i E. Shubinoj; sost. i vstup. statya N. Kornienko* [“...I Have Lived a Life”: Letters. 1920–1950. Under the General Editorship of N. Kornienko and E. Shubina; Comp. and Intro.

- Article by N. Kornienko]. Moscow, Astrel Publ., 2013. 688 p. (In Russ.)
9. “*Strana filosofov*” *Andreya Platonova: problemy tvorchestva. Vyp. 8. Andrej Platonov i ego sovremenniki. Issledovaniya i materialy. Otv. red. N.V. Kornienko* [“The Land of Philosophers” by Andrey Platonov: Problems of Creativity. Issue 8. Andrey Platonov and His Contemporaries. Research and Materials. Ed. by N.V. Kornienko]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2017. 656 p. (In Russ.)
10. Kornienko, N.V. “*Skazano russkim yazykom...*” *Andrej Platonov i Mikhail Sholokhov: Vstrechi v russoj literature* [Russian is spoken...] Andrey Platonov and Mikhail Sholokhov: Meetings in Russian Literature]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2003. 533 p. (In Russ.)
11. Kornienko, N.V. *Nepovskaya ottepel. Stanovlenie instituta sovetskoj literaturnoj kritiki* [The Nep Thaw. Formation of the Institute of Soviet Literary Criticism]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2010. 498 p. (In Russ.)
12. Pogorelskaya, E.I. “*Ochen proshu otvetit mne po sushhestvu...*”: *Pisma chitatelej M.A. Sholokhovu. 1929–1955. Otv. red. N.V. Kornienko* [“I Ask You Very Much to Answer Me on the Merits...”: Readers’ Letters to M.A. Sholokhov. 1929–1955. Ed. by N.V. Kornienko]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2020. 848 p. Pogorelskaya, E.I. *Voprosy literatury* [Topics in the Study of Literature]. 2021, No. 6, pp. 266–271. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 2 декабря 2022 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 10 декабря 2022 г.

Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.

Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on December 2, 2022

Revised on December 10, 2022

Accepted on December 15, 2022

Date of publication: February 28, 2023